

Михаил КУРАЕВ

# СААМСКИЙ ЗАГОВОР

Историческое повествование

С. М. Ф.

О, Север, Север-чародей,  
Иль я тобою околдован?  
Иль в самом деле я прикован  
К гранитной полосе твоей?

*Федор Тютчев*

На языке саамов нет слова «убийца»!  
«Убийца» переводится с языков народов, из-  
вечно нуждающихся в этом слове, как «че-  
ловек, взявший нож», что совершенно не по-  
могает раскрытию понятия.

*Из записной книжки Алдымова.*

## 1. СЧАСТЬЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО КОМИТЕТА СЕВЕРА при ВЦИК

На небесах творилось Бог знает что.

Как и полагается всякому волшебству, все происходило в полнейшей тишине.

Замерший под небом город вжался в снег, затаился, словно на улице объявили комендантский час, и даже белесый дым над черными бараками, бессонными котельными и трубами портовых мастерских мгновенно таял в морозном воздухе, чтобы не осквернять черный бархат бездонного неба. Ступеньками едва наметившихся улиц, рядами бараков, выгнутых сообразно изгибу берега, город карабкался по каменистой земле от края черного залива к подножию белых сопок.

Холодный воздух с материка, перевалив через поднятый вокруг города белый воротник округлых вершин, тек вниз, словно за шиворот, хватая за носы и щеки упрятанных в тулупы уличных сторожей и вахтенных в порту, сползал к незамерза-

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет ЛГТИ им. А. Островского. С 1961-го по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на 12 языков. Лауреат Государственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в Санкт-Петербурге.

ющей воде, и, ударившись о теплую гладь, курился легким полупрозрачным зыбким паром. На черном зеркале залива, обрамленного белой, изломанной приливами и отливами береговой наледью, сквозь морозный пар проступали контуры двух десятков сейнеров на рейде и у причалов. Они казались забытыми детскими игрушками рядом с необъятностью распахнувшегося неба.

А небо над городом было непроглядно черным, даже самые яркие звезды еле-еле могли пробиться сквозь его густую тьму и лишь напоминали, что еще живы, слабым дрожащим светом.

Зато черная бездонная пропасть над заливом плясала всполохами огня, как будто где-то за горизонтом, куда не достигал глаз, раздули горн и пламя, исходящее от него, вырывалось на волю, летело вверх, и уже само, опьяненное свободой, забыв о быстро текущей жизни огня, вершило вольный танец над белой полярной пустыней. А может, чья-то кисть, обмакнутая в бирюзовую краску, мазала сверху вниз струящиеся, льющиеся неизреченным светом полосы. Повисшая в небе цветная чересполосица дрожала, покачивалась, приготавливалась то ли к прыжку, то ли к движению, и вдруг незримый ветер куда-то сдвигал, гнал вывешенный чуть не от зенита до горизонта занавес, только что начертанный еще текучей, незастывшей краской... Зыбкий, невесомый, он двинулся, потек... Казалось, вот сейчас, когда умчится это цветное омрачение, тут-то и откроется, распахнется небесная твердь и явит всему необозримому людскому многолюдству, изверившемуся, изолгавшемуся, измучившемуся в жизни неистинной, свет той немучительной, спасительной правды, без которой хоть не живи. Кто знает, может быть, устав взирать на людское неустройство, на бесконечное мучительство, царящие на Земле, Небеса открывали перед недремными очами высокие истины? Может быть, как раз сейчас, смилив морозным дыханием земную суету, свет Небесных истин готов был пролиться в людские души... Но глухой морозной ночью на улицах было пусто.

А вот на погосте Вороньем, что в десятке верст на север от Ловозера, вышел из занесенной по самую крышу, приземистой тупы Сельма Канев, словно позвал его беззвучный зов пылающих небес. Он смотрел на пляшущие бирюзовые, розовые, малиновые всполохи, то замирающие, то мчащиеся за край неба. И замирала его душа при виде грозного напоминания. Каждый саам знал, что значит эта кровавая пляска. Давным-давно люди резались, и кровавые дорожки ушли на небо, и не высыхает эта кровь и является в глухие морозные ночи, тревожа душу саама. И не должна больше эта давняя кровь касаться земли. Если северное сияние спускается к земле так, что, того гляди, в нее упрется, Сельма знал, как предостеречься от напасти, посвисти хорошенько в ладошку, вот оно и поднимется выше.

Из тупы раздался детский плач, похожий на писк котенка. Сельма взял горсть снега, умыл смуглое лицо, словно опаленное северным сиянием, и произнес про себя слова благодарности Мандяш-оленю, прародителю всех саамов, пославшему немолодому отцу седьмого сына. Морщинки у глаз расплзлись в улыбку.

Старый Сельма уже по первому звуку узнавал, когда сын, когда дочка, как различал все звуки, полнящие молчаливую для непривычного уха тундру.

Была самая середина зимы.

Такой же ночью где-то в берлоге, подумал Сельма, родит медведица...

Живет Сельма. Живет медведица. На голой ветке засохшей сосны комом снега застыла белая сова, примечающая неморгающими глазками в круглом веере перламутровых перьев признаки мышиной жизни под снегом. Спят, зарывшись в снег, куропатки. Спят, сбившись в стадо, положив головы друг дружке на загривок, самые давние жители Земли, полярные олени... Спит под занесенным снегом камнем, зарывшись в мох, старина лапландский таракан, чьи предки повидали и потоптали землю еще вместе с мамонтами и динозаврами...

Живет вечная тундра.

На улице Красной, что в поселке Колонистов, в доме уполномоченного Комитета Севера при ВЦИК, за полночь светилось окно, наполовину затянутое морозным кружевом.

— Нурия нас сегодня рассмешила. — Серафима Прокофьевна подошла к мужу, сидевшему над разложенной на столе картой-двухверсткой, обняла его и положила голову на плечо.

— Нурия? Что за Нурия? — не оборачиваясь, спросил Алдымов.

— Я тебе рассказывала, новая санитарка, татарочка... Привезли роженицу с Росты. Началось у нее. Я говорю: «Тужься, милая, тужься...» Слышу, за спиной кто-то пыхтит. Оглянулась, Нурия стоит и пыхтит, вроде как тоже тужится. Спрашиваю: «Ты-то чего пыхтишь?» — «А помогаю...»

— Ах ты, добрая душа... Береги ее... — сказал Алдымов, не отрывая глаз от карты.

— Ты знаешь, на что похожа твоя ловозерская тундра? — спросила Алдымова Серафима Прокофьевна и поймала губами мочку его уха.

— На что? — спросил Алдымов, продолжая шагами игольчатых ножек гулять повывавшей вида, с прогалинами на сгибах карте и заносить в блокнот вымеренные расстояния.

— А ты посмотри, — Серафима Прокофьевна еще крепче обняла мужа и прижалась грудью.

— Глаза б мои ее не видели, — вздохнул Алдымов. — Завтра в Облплане буду говорить о прокладке новых дорог в Восточном районе.

— Посмотри хорошенько, на что твоя тундра похожа?

Алдымов чуть откинулся на спинку венского стула и посмотрел на паутину горизонтальных колец, окружающих желто-коричневые пятна гор, расположившихся почти посередине Кольского полуострова, как раз между Умбозеро и Ловозеро. Чувствуя на своих плечах сильные руки жены, Алдымов потянулся, потер натруженные глаза и посмотрел на карту.

— Не знаю, на что она похожа... На неприступную крепость? — словно нужно было угадать, спросил Алдымов.

— Неужели не видишь?

— Хорошие горки. Все под тысячу и за... Ну, подкова? Нет? Бублик с дыркой? Не знаю, сдаюсь.

— Да где ж твои глаза? Ловозерские тундры — это же плод в утробе. Смотри. — Серафима Прокофьевна опустила мизинец на карту. Спинка плода повернута к Умбозеру, а голова и подтянутые к животику коленки обращены к Ловозеру. Между грудью и подтянутыми к животу ножками расположено несколько вытянутое Сайдозеро. Кажется, что этот еще не родившийся человечек прячет священное для твоих саамов озеро. Вот и проток Мотка, соединяющий Сайдозеро и Ловозеро, отчетливо выраженная пуповина...

Алдымов засмеялся так, что у него затряслись плечи.

Серафима Прокофьевна отпрянула.

Алдымов бережно поднял со стола карту с подклеенными трещинками на сгибах, обтрепанными краями и подержал ее перед собой на вытянутых руках.

— А ведь, пожалуй... Ну, конечно — эмбрион! А ведь мне это в голову не приходило. Вот тебе и ответ на все загадки. Такое глазами не увидишь, здесь нужно сердце зрячее. Так оно и бывает, труднее всего увидеть суть в привычном!

Из двадцати лет существования города на самом краешке северной земли, спокойной жизни на Мурмане не было; одна война, потом другая, одни хозяева, потом другие. И хлынувший сюда последнее десятилетие народ в горячке преобразований еще не чувствовал землю своей.

Добротную домовитость, уют нечасто встретишь в едва возникающих поселениях, в таком случае дом Алдымова был как раз редким исключением.

Войдя в гостиную, вы сразу заметите портрет хозяйки. В широкой красной раме, легкой, как цветная тень, превосходный акварельный рисунок запечатлел улыбающуюся Серафиму Прокофьевну среди диких гладиолусов, шпажника, ныне совершенно исчезнувшего. Винтеровские часы с боем в деревянном округлом футляре издавали глубокий мягкий звук, ненавязчиво напоминая о движении времени. Барометр, столь необходимый для получения сведений о переменной мурманской погоде, в прихотливом резном деревянном облачении был наряден. Портреты родителей в черном овальном багете по стенам, несколько превосходных акварелей с видами тундры в разную пору, старая норвежская карта Северной Европы в раме, даже небольшой, рисованный итальянским карандашом портрет Сталина, раскуривающего трубку, — все свидетельствовало устойчивое, прочное жизнеустройство. Стенные часы с боем, полки с книгами, венские стулья, ковровая оттоманка, ореховая вращающаяся этажерка, чуть накренившаяся под тяжестью книг и пухлых папок, говорили о верности старой моде. А дамасской стали кинжал над оттоманкой, две фотографии со строительства железной дороги в Персии да литографированная панорама Стамбула свидетельствовали о том, что хозяйину случалось бывать и в краях потеплее кольских.

— Мне казалось, — не глядя на Серафиму Прокофьевну, заговорил Алдымов, — что я неплохо знаю о саамах... почти все... ну, не все, конечно, но, скажем, больше, чем другие... Но то, что ты сказала... Эмбрион! Ответ на все вопросы. Как я сам не увидел?

— Потому что не акушер! — улыбнулась Серафима Прокофьевна. — Опять половина второго. У меня завтра с утра патронажный обход. Ты еще будешь сидеть?

— Завтра на Комитете Севера снова буду ставить вопрос об отеснении саамов от Кольского залива. Если люди не умеют сопротивляться, не умеют себя защищать, это не значит, что с ними можно творить все что угодно.

Большая комната служила и гостиной, и столовой, а частенько и рабочим кабинетом. В комнате поменьше спал сын.

Серафима Прокофьевна стелила постель.

— Они не индейцы. Так и мы не янки, пришедшие на добычу невесть откуда. И если у кого и учиться жить по-человечески, так это у саамов! Когда-нибудь это, может быть, и поймут, да как бы не было поздно. С утра иду в присутствие, — так Алдымов величал Облплан, — а после обеда в Комитет Севера. Еще разик цифирь проверю и ложусь.

Счастливая семья Алдымовых мало походила на другие счастливые молодые семьи.

Алексей Кириллович и Серафима Прокофьевна встретились поздно — в сорок лет.

У Серафимы Прокофьевны было два взрослых сына, люди, уже вполне самостоятельные. Старший, Владимир, пошел по стопам своего отца, закончил военное училище, служил в Красной армии, под Уссурийском. Младший, Сергей, поступил после школы на геофак в институте Покровского в Ленинграде. После окончания вуза выбрал распределение в Мурманск, успел здесь жениться, работал в метеослужбе Рыбфлота. Жил Сергей со своей женой Катей на улице Рыбачьей, тоже в своем жилье, правда, денег хватило лишь на то, чтобы купить полдомика.

А вот Алексей Кириллович, исходивший землю от Персии до Мурмана, в семнадцатом году заглянувший даже в Константинополь, времени жениться до сорока лет не нашел.

Что нужно для счастья?

Свой дом?

Пожалуйста! Вот уже девять лет, как был у них свой дом в поселке Колонистов, на улице Красной. Дом в три комнаты, с кухней, с сарайной пристройкой, в которую можно было ходить за дровами через крытое крыльцо, не выходя на заснеженный двор. А первых пять лет жили, как и многие, на запасных путях у порта, прямо в вагонах, в этих сараях на колесах, по недоразумению прозванных «теплушками». Переезд в барак уже казался счастьем, а то пеленать мальчишку приходилось в шалаше, устроенном из одеял, где, как в саамской веже, родители нагревали воздух своим дыханием.

Небольшой теплый уютный дом был выстроен на кредит, полученный от Потребсоюза.

Что еще для счастья нужно?

Работа.

На Алдымова, высокого, поджарого, с дыбящейся, словно от встречного ветра, шевелюрой, работа наваливалась со всех сторон.

Высокий лоб и пышную шевелюру не спрячешь, а вот округлая бородка и аккуратные усы, казалось, были призваны чуть прикрыть лицо человека беззащитно приветливого.

Годы странствий, заставившие Алексея Кирилловича освоить множество профессий, делали его человеком незаменимым в немногочисленном еще Мурманском краю, да и в самом Мурманске, где голод на людей, знающих дело, умеющих работать, был высок, как никогда.

Но странное дело, его карьера двигалась не то чтобы вниз, но и не вверх. Едва появившись в Мурманске, он стал председателем Губплана, а по прошествии тринадцати лет оказался всего лишь директором краеведческого музея, впрочем, сохранив за собой весьма почетное звание Уполномоченного комитета Севера при ВЦИК.

Брался за любое поручение и был способен в короткий срок освоить новое для себя дело. Люди, не владевшие предметом достаточно глубоко, а среди руководящих назначенцев их было большинство, не успевали за его мыслью. Есть люди, умеющие небольшие свои знания и способности преподнести человечеству как подарок. Алдымов же был беззаботно щедр, и начальство сходилось на том, что Алдымов, быть может, и специалист, а вот солидности не хватает. И организаторской хватки. Почему? Да потому, что предпочитал сделать сам, вместо того чтобы заставить работать других. От появлявшихся в этих краях товарищей Кирова, Сталина, Ворошилова и Микояна держали Алдымова на расстоянии. Впрочем, его охотно «бросали» в узкие места.

Не сразу, но колхозное поветрие доползло и в заполярные тундры. Как ни пытался Алдымов объяснить в Мурманске, что колхозы кочующим оленеводам не нужны, а всякое насилие вредно, горох логики отлетал от директивных твердынь. Его обстоятельные и доказательные докладные записки, как пущенные по воде плоские камешки, с легким плеском скакали с одного стола на другой, пока где-то не уходили под сукно, как в воду.

Вот с музыкой и речами устроенный колхоз «Красная тундра» благополучно развалился, не успев, по сути, и возникнуть. А потом не могли доискаться, на каком стойбище, на каком кочевье «руководство» и «актив» еще одного колхоза «Красный оленевод». «Хватит плодить “бумажные” колхозы!» А в ответ слышал: «Тебе хорошо, ты беспартийный. А нам линию партии на коллективизацию надо проводить».

Зато с какой надеждой он готовил по указанию окружкома материалы «о левачьих перегибах при коллективизации оленеводческих и рыболовецких хозяй-

ствах». Впрочем, явно недопонимая, это какое же доверие ему было оказано, а где доверие, там и возможности!.. Да на месте Алдымова любой бы сумел и произвести впечатление, и запомниться. И Алдымов запомнился!

Заранее предупрежденный о том, что никаких выписок делать нельзя, расположившись за столом в кабинете завсельхозотделом окружкома, едва пробежав глазами заголовок, Алдымов вздохнул и покачал головой: «Долго собирались...» Погрузившись в чтение, не заметил, как вздрогнул от услышанного Елисеев, хозяин кабинета. Указывать или выговаривать ЦК, бросая подходящие реплики, здесь было непозволительно.

А Елисеев еще хотел спросить Алдымова, почему он не в партии, но, увидев, как тот, не прекращая чтения, полез в свой портфель, достал яблоко и стал грызть, понял, что спрашивать его не будет.

Прочитав постановление два раза, Алексей Кириллович тут же прикинул, как извлечь из документа, где первая часть традиционно противоречила второй, максимум благ для едва не затоптанных на «путях колхозного строительства» саамов. Пусть и в несколько сокращенном и смягченном виде, но материалы, подготовленные Алдымовым, вошли в доклад нового первого секретаря окружкома Абрама Израйлевича Абрамова, присланного из Ленинграда. О том, что его материал пригодился, Алексей Кириллович узнал из опубликованного в «Полярной правде» отчета о партконференции, сам он, как человек беспартийный, на конференцию приглашен не был...

Работа с ясно осязаемой пользой для людей, что еще нужно для счастья?

А еще Алексею Кирилловичу, чтобы почувствовать себя счастливым, было достаточно услышать и записать наивную и трогательную сказку, хотя бы о «Семилетнем стрелке из лука», о колдуне Леушк-Кетьке или обитателе и хранителе заполярных недр, голеньком саамском гноме Чахколи с семейством, таким же голеньким. Голенький Чахколи, бескорыстный и щедрый, не стяжавший ни себе, ни своей семье даже тоборков, благодетель саамов, предупреждал, однако, что его богатства не беспредельны. И эти предостережения Алдымов еще на должности председателя Губплана помнил и в меру возможного ими руководствовался, не прибегая, разумеется, к авторитету своего тайного советчика.

По душе пришлось Алдымову знакомство с людьми, не знающими ни вражды, ни зависти, ни злобы. И приезжавшие в Мурманск из тундры саамы знали, что, кроме Дома оленевода, у них есть дом и на улице Красной, в поселке Колонистов.

Что еще нужно для счастья?

Алексею Кирилловичу — Серафима Прокофьевна, по первому мужу Глицинская.

Акушерка мурманской горбольницы и уполномоченный Комитета Севера при ВЦИК по Мурманскому краю, служивший в 1924 году председателем Губплана, встретились 1 мая на праздничном митинге, на площади Ленина. С тех пор и не расставались. Ко дню исчезновения Серафимы Прокофьевны сынишке, названному от восторга немолодых родителей Светозаром, уже исполнилось двенадцать.

## 2. НА МИТИНГЕ

Площадь в трехстах метрах вверх от вокзала, устроенного на берегу залива, в этот праздничный день по снисхождению небес к пролетарским торжествам была почти сухая и старанием агитотдела губкома щедро украшена цветными панно с

изображением низвергнутой буржуазии и разгромленной Антанты. Множество плакатов призывали трудящихся земного шара, еще пребывающих в оковах капитала, следовать по пути трудящихся РСФСР, уже семь лет как эти оковы успешно скинувших. Флаги и плакаты прикрывали серую неприглядность заполярного города, собственно городом еще и не ставшего. Он пока еще лишь прорастал сквозь мерзлую каменистую землю, теряя облик стойбища для наезжавших сюда артелей, бригад, компаний и обществ искателей быстрого прибытка. Пространство от берега залива до ближних сопок и покрытого рыхлым серым льдом Семеновского озера, поднятого над городом, напоминало большую стройку.

Народ, густо заполнивший кремнистую площадь, вздымал над собой транспаранты и портреты вождей.

Одежда на митингующих являла подчас сочетания самые несообразные. Можно было подумать, глядя на этих людей, что они явились сюда после какого-то бедствия, надев на себя то, что уцелело, удалось спасти, выбегая из горящего, предположим, дома. Драповое пальто с каракулевым воротником и лопарские пимы с галошами. Порыжевшие высокие сапоги, пиджак на вате и суконная буденовка на голове. Валенки с галошами и просто ноги в толстых носках, всунутые в галоши. Поношенная армейская одежда без знаков различия, побывавшая если уж не в боях, то в нелегких походах, была представлена в пехотной, морской и реже кавалерийской версиях. Обладатели кожаных тужурок, даже изрядно потертых, или бекеша на меху, с овчинной выпушкой, со сборками на талии смотрелись франтами. Одежда большинства участников митинга была по преимуществу каменного цвета, серого и черного. Глядя с высоты, можно было бы подумать, что площадь покрыта ожившими камнями, вдруг проснувшимися и спросонья пребывавшими в каком-то зыбком непредсказуемом перемещении. Некоторое разнообразие в скудную палитру, словно цветы в тундре, вносили красные косынки на головах молодых девушек, белые пуховые и синие в горошек платки на женщинах постарше и редкие расписные праздничные шали в купеческом духе.

Тут же, не рискуя смешаться с праздничной толпой, что-то выглядывали заматеревшие в бродяжничестве странники, не умеющие толком объяснить, зачем они здесь и какой нуждой их занесло в эти неприветливые края. Не причастные к праздничной жизни, измученные, изможденные люди, как прибрежная пена вперемешку с кучей сырого мусора, болталась на краю митингующего половодья.

— Сегодня, когда мы проводим очередной смотр сил коммунистической армии советских республик... — неслось над площадью, — мы прошли единственный, не слыханный в истории путь от мелких маленьких рабочих пропагандистских организаций до первой в мире пролетарской партии, взявшей в свои руки управление громаднейшим государством!..

Обтянутую кумачом трибуну украшали портреты вождей. Поблескивал своим пенсне товарищ Троцкий; был благообразен, как домашний доктор, Алексей Иванович Рыков, недавно заменивший ушедшего Ленина на посту председателя Совнаркома; дыбился вдохновенной шевелюрой товарищ Зиновьев, и прятал улыбку в черные усы недавно возведенный в генсеки для налаживания оргработы. так и не снявший еще свою кожаную фронтовую кепку товарищ Сталин.

Еще не было той строгости и порядка, которые с годами станут отличительной чертой советских праздников. Еще в «Календаре коммуниста» мирно соседствовали Рождество и Кровавое воскресенье, праздник Пасхи и Первое мая.

В купели первотворения новая жизнь искала свое лицо.

До середины толпы, заполнившей площадь, с трибуны доносились лишь отдельные слова и обрывки жарких фраз...

— ...Здесь, на этой холодной земле, где сложили свои кости лучшие из тех людей... мы заложим фундамент такой жизни... когда не будет ни бедных, ни богатых...

когда человек с юных дней будет жить полной жизнью и дышать полной грудью! К великим задачам, к великим битвам... в царство труда поведет нас партия, которую создал величайший вождь угнетенных и обездоленных, незабвенный товарищ Ленин. Перед его светлой памятью мы клянемся, что установим на земле подлинный строй братства человечества...

Южный ветерок, вдруг вспоминая о важности происходящего, легкими порывами помогал разносить речи во все стороны.

К площади, скандируя стихи, подошла команда молодых людей в юнгштурмовках.

РКП —  
папаша наш,  
Женотдел —  
мамаша наша!  
Во!  
И более ничего!

В разных концах площади, где слова выступавших тонули в людском говоре, не достигая ни слуха, ни ума, вспыхивали разговоры, жаркую пищу которым дали дискуссии, охватившие умы накануне тринадцатого съезда РКП(б).

— Текущий момент требует ясности! — кричал с трибуны о наболевшем человек в зеленом френче с накладными карманами и круглых очках в черной оправе.

— Разделение труда — да! Разделение власти — нет! Вот наша формулировка. И мы попросим некоторых товарищей, которые слишком часто суются к нам со словами «не компетентны», чтобы они забыли это слово. Партия и ее хозяйственный опыт будут расти вместе с ростом самого хозяйства...

— Кончай молотить! Лозгуны давай! — крикнул во все горло мужик в треухе, пробившийся к трибуне. Оратор, не прекращая свою пламенную речь, нашел глазами кричавшего и показал ему кулак.

— С лозгунами погодь, ты мысль пойми, — дернул крикнувшего за рукав жаждающий высказать заветную мысль нормировщик из судоремонтных мастерских, человек, умеющий умно говорить об умном. — Товарищ Троцкий исключительно констатирует недомогания в нашей партии. Это хорошо? Хорошо...

— Нет, плохо, — тут же вступил в разговор крепко подкованный замполит Рыбпорта. — Он для лечения предлагает средства поопасней самой болезни!

— Нет такой струи у товарища Троцкого, — убежденно сказал нормировщик, глядя не на собеседника, а в землю.

— Есть, есть у него такая струя, но мы ее не разделяем, мы ее отвергаем. Мы эту струю раздавим!

— Товарищ, но как же вы не видите, — для наглядности нормировщик указал ладонью себе под ноги, на расквашенную землю площади Ленина: Загнивание верхушки есть? Есть. Аппаратный бюрократизм есть? Есть... Опасность перерождения есть? Есть.

— Мы это все слышали! Оппозиция дует в эту дуду, все эти сапроновы и дробнисы, осинские да преображенские. Это все левая фраза. Есть резолюция ЦК об оппозиции. И точка! Мы совершим двадцать ошибок и двадцать раз их исправим, и это лучше, чем ревизовать вопрос о диктатуре партии вообще!..

— Вы слышали, Алексей Кириллович? Вот вам и «разделение труда», они наломают дров, а мы — кому же еще? — будем двадцать раз исправлять их ошибки, — обратился к молчавшему Алдымову Рыбин из общего отдела губисполкома. В голосе Рыбина не случайно прозвучала личная обида, еще бы, именно его, не имеющего своего участка в исполкоме, бросали затыкать дыры, развязывать «узлы» и исправлять чужие ошибки.

— Истина не дитя толпы, не на митингах она рождается, — чуть улыбнулся Алдымов. — Компетентность... Деятельность при неполноценном знании подслепова-та...

— Слепа! «Ходяй во тьме не весть, камо грядет!» С праздником! — подошел предкомхоза Алябьев, человек повоевавший, о чем свидетельствовал когда-то, надо думать, наскоро зашитый шрам от левого уха к подбородку. — Верно, Рыбин?

— Слава Богу, хоть кто-то понимает, — облегченно вздохнул Рыбин.

— А вы бы как хотели? — спросил Алдымов.

— А мы бы хотели, чтобы каждый баран висел за свои ноги, — твердо сказал Алябьев. — Не экономисты, а фантазеры на хозяйственные темы.

...Алексей Кириллович сначала увидел русую косу, едва прикрытую сдвинутой к затылку черной фетровой шляпкой с короткими полями. Коса была свита в канат, плотным узлом уложенный на затылке и удерживаемый крупными черными шпильками. Песцовый воротник... Высокие черные ботинки на шнуровке... Почему-то дыхание сбилось... На какую-то долю секунды в дерзком воображении он выдернул все шпильки, и волосы, как вода с Чагойского водопада, сплошным потоком упали вниз.

Она оглянулась, словно почувствовала его дерзкий взгляд.

Митинг кипел.

Начинали спор двое, подключался третий, четвертый. Любой из стоявших поблизости был готов и слушать, и говорить, и говорящих было явно больше, чем слушающих.

— Алексей Кириллович, — обратился Свиристенин из земельного отдела к Алдымову, ставшему вдруг безучастным ко всему происходящему, — ну чем вам не Гайд-парк!

— Что вы сказали? — переспросил Алдымов, не теряя из виду шляпку и крепко уложенную под ней косу.

— Говорю, на Гайд-парк похоже...

— Да, действительно, вы правы, — механически проговорил Алексей Кириллович.

— Кажется, там хороший газон...

— Троицкий глядит вперед! — рядом горячился паренек в солдатских ботинках и галифе, заправленных в носки разной масти, явно непарные... — Новую экономическую политику нужно прямо сейчас заменить новейшей!

— Вони що, з глузду з'явився? — мужик в лоснящемся кожухе адресовался к неведомым управителям. — Два року нэпу! Мужик тильки-тильки себе людиной почував. Ты до ума доведи що почав. Побачь, що зробили. Мабуть, щесь треба краще зробить... А то все новийше да новийше...

— Алдымов, ты-то мне и нужен, — подошла, как проломилась сквозь толпу, громоздкая женщина в кожаной кепке на коротко стриженной голове. — Записываю в комиссию по борьбе с самогоном.

— Не спеши, не спеши, Анфиса. Я в ячейке содействия РКИ, в ревизионной комиссии, комиссии по ликвидации неграмотности, в делегатском собрании... — пытался урезонить даму из женотдела Алексей Кириллович.

— В точку, Алдымов! Надо замкнуть цепь между делегатским собранием и комиссией по самогону.

— Хромаешь, Анфиса, на правую ногу хромаешь! — пришел на помощь Рыбин из губисполкома. — В комиссию по самогону в первую очередь надо привлекать пролетарский элемент! «Во! И боле ничего!»

— Верно! — тут же согласилась женщина в кепке. — Ты же, Алдымов, непьющий? Что ты в самогоне понимаешь? Вычеркиваю, — черкнула и заткнула карандаш с металлическим наконечником над ухом под кепку и, не выпуская из рук из-

мочаленного блокнота, ринулась, как сейнер за треской, на отлов «пролетарского элемента».

В другом месте тоже поминали Троцкого.

— ...Троцкий ничего не говорит об иностранном капитале. Без иностранного капитала, это я вам как промышленный отдел говорю, мы промышленность не поднимем.

— Что вы все Троцкий, да Троцкий, поверьте мне, скоро вперед выйдет Иван Васильевич Сталин, вот кто еще своего слова не сказал...

— А что он скажет? Да ничего он не скажет, будет жевать свою «национальную политику» да «оргработу».

— Не говорите. Попомните мое слово! Иван Васильевич — это фигура!

— А разве он Иван? Врешь, мужик, имя у него точно не Иван, какое-то библейское...

Сердце Алдымова забилося ровно и покойно, как только он увидел ее лицо, серые блестящие глаза с зеленой искрой, под полукружьем темных бровей.

Она улыбалась, а взгляд, как показалось Алдымову, был невеселым. Веки на внешних уголках глаз были чуть припущены, от чего казалось, что глаза вот-вот приоткроются, прищурятся, чтобы видеть лучше, или закроются, чтобы не видеть вовсе. Эта припущенная завеса на глазах невольно придавала ее лицу чуть загадочное выражение затаенности, быть может, тайной печали. Даже когда она смеялась и лицо преображала открытая живая улыбка, глаза, казалось, видели что-то такое, что не давало повода к веселью.

Ровным счетом ничего не зная о ней, даже замужем она или нет, он почувствовал всем своим существом в этой немолодой женщине человека, излучавшего покойную уверенность подлинной женственности.

«Откуда она здесь?» — спрашивал себя Алдымов. Он бы не удивился, если бы вдруг она исчезла. Он никогда не задавался вопросом, в чем сущность женственности, и сейчас не умом, не словами, а самым дыханием говорил себе, что это дарованное немногим избранницам право сообщить миру те неповторимые черты, какие не в силах породить сама природа.

Ему показалось вдруг странным, что для людского многолюдства она словно невидима, никто не оглядывается на нее, не пытается заговорить. Роста она была выше среднего, что при склонности к полноте сообщало фигуре в приталенном жакете гармоничную рельефность линий. Глаза серые. Волосы русые, нос прямой, пальцы тонкие, что было видно и сквозь черные лайковые перчатки.

Алексей Кириллович тут же забыл о своем желании возразить стоявшему рядом с ним Свиристенину из земельного отдела, защищавшему «платформу Ларина».

— Вы тут в смысле пораженческого настроения выступать не надо, — уверенно сыпал Свиристенин уже ничего не слышащему Алдымову. — Если Троцкий говорит о *ножницах*, в смысле их расширения, то это еще ничего не значит. Вы же Губплан, так я вам говорю, что в плановых организациях, товарищ Алдымов, запрашивают еще более широкие *ножницы*, чем указал товарищ Троцкий...

— А что же товарищ Троцкий предлагает срезать? — наконец почти механически произнес Алдымов, забыв, что *ножницами* товарищ Троцкий лишь обозначал расхождение и ничего резать не предлагал.

— А тот же Рабкрин! — азартно сказал Свиристенин и, наконец увидев, куда направлен взгляд его собеседника, дружески пояснил: — По-моему это горбольница.

— Вы — срезать, а Ленин ставил Рабкрин во главу угла... — все так же, по инерции продолжал разговор Алдымов.

— Читал я Ленина о Рабкрине... Ну и что? Видел я этот Рабкрин. Что они находят? Ничего они не находят. Нужно создать щупальца другого рода...

Слушая жаркий разговор за своей спиной, Серафима Прокофьевна что-то шепнула приятельнице, которую держала под руку, обернулась, снова встретила глазами с Алдымовым, заметила лестное для женского самолюбия смущение, и с нарочитой серьезностью спросила:

— А что вы скажете о позиции Смилги?

Алдымов вдруг почувствовал себя совершенным студентом, вынужденным счастливым билетом. Он не знал, как заговорить, не будучи даме представленным, и вдруг такая удача.

— Если мы хотим двигать мелкую промышленность, а в нашей ситуации это жизненно необходимо... — Алдымов смотрел в глаза женщине, интересующейся позицией Смилги, и вся праздничная бутафория первомайской площади увяла от этого света. Алдымов даже испугался, что интерес к Смилге у дамы не глубокий и может пропасть, поэтому поспешил с разъяснением. — Смилгу пугает то, что мелкая промышленность уходит из рук государства. Так и слава Богу, что уходит. Зачем государству тащить этот обоз мелочевки! Впрочем, куда же она уходит? Она остается, во-первых, в виде налогов, во-вторых, это рост товарной массы. А Смилга что предлагает? Давайте ее подчиним государству. А потом поглотим. Поглотить — это же тормоз получается... Простите, как вас зовут? Я не представился. Алдымов. Губплан.

— Странное имя, — улыбнулась дама.

— Почему странное? — не понял Алдымов.

— Алдымов. Губплан? — повторила женщина.

— Да, действительно... Простите... — «Я, кажется, смешон», — удивился Алдымов, на секунду увидев себя со стороны. — Мы уже становимся частью нашей работы. А зовут меня Алексей Кириллович.

— Серафима Прокофьевна. С праздником вас, Алексей Кириллович.

Алдымов приложил руку к груди и с легким поклоном ответил:

— И вас с праздником...

Так и начался праздник, которому отпущено было тринадцать лет, шесть месяцев и двадцать дней.

Когда в первый же день знакомства Алдымов узнал о том, что Серафима Прокофьевна работает акушеркой, он принял эту весть как свидетельство верности его чувств, его ощущений... Именно такие руки, именно такая улыбка, именно такое создание должно первым принимать в мир входящего, еще беспомощного и беззащитного нового жителя Земли, будущее человечества.

Он сказал ей об этом.

Она рассмеялась:

— Иногда принимают не руки, а щипцы. Только знать вам это не положено.

И Алдымов тут же согласился, рождение — чудо и тайна, и не профанам об этом рассуждать.

Оба были не молоды, и уже через три месяца после знакомства, в конце лета, Алексей Кириллович сделал Серафиме Прокофьевне предложение.

— Я и не знала, что вы старьевщик, — рассмеялась Серафима Прокофьевна.

— Я не старьевщик, я — антиквар! — объявил Алексей Кириллович.

— Удивляюсь, как вы до сих пор никого не нашли?

— Не там искал или не то...

— Сорок лет? Ты хорошо сохранился.

— Некогда было стареть.

— Ты чему смеешься?

— Боюсь быть счастливым. Говорят, счастье — губительно...

### 3. АКТ НА ОДНОЙ ТРЕТИ ЛИСТОЧКА

Саамы умели писать вчерашним снегом по летучему камню, мы так не умеем, у нас пишут проще.

«27 октября 1938 г. мною, Комендантом УНКВД ЛО ст. лейтенантом госбезопасности Поликарповым А. Р. на основании предписания за № 051 от 21 октября 1938 года приведен в исполнение приговор Особой Тройки НКВД ЛО в отношении АЛДЫМОВА Алексея Кирилловича.

Вышеуказанный осужденный РАССТРЕЛЯН.

Дата: 28 октября 1938 г.

№ 45-708.

Комендант УНКВД ЛО ст. лейтенант Поликарпов».

27-го исполнил, 28-го оформил документ.

Поскольку на один машинописный лист вмещались аккурат три «акта», то документ, подтверждающий завершение жизненного пути Алексея Кирилловича, уместился на клочке в треть листа, впрочем, даже еще место осталось. Немного, но осталось. «Акт» исполнили на простой, слегка шероховатой бумаге, что говорит и о некоторой простоте ведения дел, в конце концов, не в бумаге суть, а в подписи.

О старшем лейтенанте Поликарпове, Аркадии Романовиче, исполнившем приговор в отношении Алексея Кирилловича Алдымова, известно немного.

Надо думать, человек он был аккуратный и к выполнению своих обязанностей относился с надлежащей тщательностью, готовился загодя. Текст «акта» заготовлен накануне, напечатан на машинке с черной лентой, а даты «27 октября», «28 октября» и «№ 45-708» впечатаны цветными знаками на другой машинке, оснащенной машинописной лентой голубого цвета. Надо еще заметить, что после первой даты текст «акта» начинается с заглавной буквы, хотя красной строки нет: «Мною, Комендантом...» и т. д. Впрочем, можно увидеть и вовсе странные документы, подписанные недогнувшей рукой старшего лейтенанта Поликарпова: «...на основании предписания от 14 августа... приведен в исполнение 11 августа...» Какая уж тут аккуратность? Тут уже недогляд и тех, кто полученные от старшего лейтенанта рапортики собирал и направлял в Ленинградский областной комитет ВКП(б) товарищу Кузнецову А. А. Такой был порядок. Но люди рассуждали здраво. Дело сделано, расписка получена, куда надо представлена, а «11-го» сделано, или «14-го», какая, в сущности, разница, во вторник или в пятницу. Никому от этого ни тепло, ни холодно.

Был старший лейтенант Аркадий Романович человеком немолодым, уже близко к пятидесяти, крепко пьющим и несколько глуховатым, особенно на правое ухо. Начальство смотрело на отдельные недостатки коменданта УНКВД сквозь пальцы, снисходительно, люди хорошо понимали специфику работы. А еще совсем немолодой старший лейтенант Аркадий Романович был не по возрасту капризен. Постоянно требовал для своей работы немецкие «вальтеры», наш «ТТ» два-три месяца— и выходил из строя, перекося патрона при подаче в патронник, осечки, это раздражало подвального воина. Дома держал кошку, многое ей позволял, и она отвечала ему взаимностью.

Кого-то из людей несведущих может несколько смутить то обстоятельство, что звание, как бы воинское звание, старший лейтенант, не сочетается с такой важной и большой ответственности должностью, как комендант НКВД Ленинградского округа, в ведение которого до 1938 году входили территории, образовавшие впоследствии Мурманскую область и целый Карельский край.

Скромное звание не смущало коменданта.

Известно, к примеру, что, по сути дела, министр с хозяйством побольше, чем у многих прочих министров, всем известный Орлов А. Г., начальник Главспецстроя НКВД, человек, ведущий силами спецконтингента множество строек от побережья Охотского моря до побережья Баренцева моря, отвечающий за исполнение гигантского объема работ невероятной сложности и важности, пребывав в необычном звании всего лишь старшего майора, правда, госбезопасности. Звание званием, а в петлице у майора был ромб!

Так может ли хотя бы и комендант, пусть даже Ленинградского округа, имея на фуражке традиционный для определенного рода войск в России синий околыш, сетовать на недостаток шпал в петлицах?

Нет, конечно.

Больше о пожилом старшем лейтенанте Поликарпове А. Р. сказать нечего, одно слово — добросовестный исполнитель.

Да, и уж самое последнее. В июне 1939 года старший лейтенант Поликарпов застрелился, оставив предсмертную записку. Что уж он там написал, так и осталось для многих неизвестным, потому как секретарь Ленинградского областного комитета ВКП(б) товарищ Кузнецов, курировавший органы, когда получил материалы о загадочной кончине Поликарпова А. Р., записку прочитал, порвал и выкинул.

Понять поступок Аркадия Романовича было трудно, вроде бы тяжелое, опасное время миновало. Прошло уже два года, как сеявший страх Николай Иванович Ежов стал мирным наркомом водного хозяйства, а заменил его на высоком посту добрейший Лаврентий Павлович Берия, начавший свою деятельность с пересмотра некоторых приговоров, необоснованно вынесенных в пору *ежовщины*.

Что заставило коменданта вынести себе приговор и привести в исполнение? Трудно сказать. Записка могла бы пролить свет, но, увы, уже не прольет.

Кошка, которой так много позволял Поликарпов и которая в свою очередь позволяла даже подбрасывать ее в воздух и ловить, сразу после скромных похорон хозяина куда-то исчезла. Может, кто и умыкнул, уж больно красивая, белая, но не как медицинский халат, а с перламутровым отливом, без единого пятнышка, как волосы у норвежской ведьмы.

## 4. ВАГОНЧИК СЧАСТЬЯ

Это было еще в вагоне на запасных путях, в «теплушке», ставшей их первым домом. Впрочем, хотя вагон был невелик, но разделен был на две половины, для двух семей. Вторую половину занимала семья нарядчика с угольного склада Прокопия Шилова, человека умеренной трезвости и неумеренной доброты. Прокоп обеспечивал углем для обогрева обе половинки дома на колесах. А еще была приобретена по случаю американская керосиновая печка, уцелевшая после ухода интервентов, что было предметом тихой гордости главы маленькой семьи. Печка эта не требовала постоянного наблюдений и обихаживания, как питавшаяся углем «буржуйка», быстро нагревавшаяся и, увы, так же быстро остывавшая.

Оба были немолоды. Несколько раз он замечал, что ее лицо тускнеет. Смотрел на нее и почти не узнавал. Как озеро под солнцем, спрятавшимся под толщу облаков, теряет свой живой лик, так же и тень прожитых лет, как пасмурные дни, предвестники приближающейся осени, спешат напомнить о конце лета. Но слава Богу, мы сами-то не замечаем своих лет. Она вставала. Поправляла прическу. Ставила на американскую «керосинку» чайник... Все предметы были беззвучно послушны ее рукам. Он подходил к ней, обнимал, словно хотел убедиться, что это не призрак, а живая плоть. Она смотрела на него с вопросительной тревогой. Он целовал. Вдруг

мелькнувший призрак исчезал, он смотрел в ее серые с зеленой искрой глаза и тихо говорил: «Как хорошо». — «Милый ты мой», — тихо произносила Серафима Прокофьевна, женским своим чутьем угадывая все, что он мог чувствовать, не признаваясь себе. Он смотрел на нее, не говоря ни слова. «Я постарела?» — «И прежних радостей не надо вкушившим райского вина! — декламировал Алдымов и шепотом, словно их могли услышать, говорил: — Я не могу тобой насытиться».

Вместе читали «Дневник Николая Второго», трагический в своем на всю жизнь подростковом простодушии.

Светик еще не родился, но уже явно тяготился замкнутым пространством материнского лона. Однажды они сидели перед источавшей ровное тепло керосиновой печкой, накинув на спины старую черную шинель с подстежкой. Алдымов обнимал Серафиму Прокофьевну за плечи. Света от «летучей мыши», висевшей на крючке, ввинченном в потолок, не хватало, чтобы осветить тонувшие в темноте углы обжитой половины вагончика.

В свое время в ссылке, куда его отправили в 1907 году, у Алдымова оказалось предостаточно свободного времени, что позволило ему сделать немало открытий, так он открыл для себя поэзию древних греков. Именно эти стихи, пришедшие из непроглядной дали, помогли ему почти физически ощутить единое пространство мировой культуры. Это было чувство, ни с чем не сравнимое! Сами же стихи с первого прочтения поселились в нем на всю жизнь. Ему казалось, что он их знал всегда. И вот теперь, в вагончике на запасных путях, он дарил Серафиме Прокофьевне Алкея, Феогнида из Мегары, Пиндара, Анакреонта... За стенами вагончика выла пурга, а здесь, у американской печки, звучал Архилох!..

...Сердце, сердце, пред тобою стали беды грозным строем.  
Ободришь и встретишь их грудью, и ударим на врага.  
Пусть кругом врагов засады, твердо стой, не трепещи.  
Победишь, своей победы напоказ не выставляй.  
Победят, не огорчайся, запершись в дому, не плачь.  
В меру радуйся победе, в меру в бедствиях горюй.  
Смену волн познай, что в жизни человеческой царят.

— Как мало поменялась жизнь, — заметила Серафима Прокофьевна.

А еще в их жизни была игра, по сути, не игра, а, скорее, заветные слова, в которых они хранили счастливый миг встречи.

Когда они оставались одни, Серафима Прокофьевна подходила к зарывшемуся в отчеты, переводы, докладные записки и письма Алексею Кирилловичу и негромко спрашивала: «А что вы скажете о позиции Смилги?»

Как бы ни был он занят, Алексей Кириллович вставал, брал в ладони обе руки Серафимы Прокофьевны и целовал...

Их чувства так никогда и не измельчали до привычного.

За утепленными двойными стенами шуршала поземка, доносились звуки маневровой жизни станции, ляг буферов, свистки паровозов и похожая на утиный манок погудка стрелочников. Все время Серафиме Прокофьевне казалось, что и их вагон вот-вот сдвинется и куда-то покатит, хотя к вырезанному в стене входу были пристроены небольшой тамбур и лестница с перильцами, а под брюхом вагона лежала кладка дров, сбитых скобами, уж если не предотвратить, то хотя бы затруднить их хищение.

— Ты знаешь, за что я тебе благодарен? — спросил Алдымов.

Алексей Кириллович постоянно находил повод благодарить Серафиму Прокофьевну. И вовсе без повода мог благодарить «за вашу к нам благосклонность», а узнав, что она *в положении*, тут же благодарил за одоление его *бесчадия* и титуловал жену *ваше благоутробие*.

— Говори, — чуть слышно сказала Серафима Прокофьевна и только чуть теснее прижалась к мужу.

— Итак. Благодаря тебе эволюционный переворот, обычно длящийся столетия, а то и того больше, со мной произошел в считанные дни. А может быть, часы, — чуть помедлил, что-то припоминая, и, сам тому удивляясь, договорил: — А может быть, минуты.

Серафима Прокофьевна уже знала эту манеру Алдымова говорить о них, находя пояснения в сравнениях самых невероятных. Ее веселили эти «исторические обоснования» всего, что с ними происходит.

— Что, в сущности, произошло? Благодаря тебе я от жизни кочевой перешел к более прогрессивной оседлой форме жизни.

Алдымов не видел лица Серафимы Прокофьевна, но знал, что она улыбнулась.

— И ты это говоришь, сидя на колесах?

— Это колеса на конечной станции. У нас будет дом, в доме будет настоящая печка. Мы будем перед ней сидеть уже втроем, с пупсом...

Именно так, «пупсом», именовался пока еще неведомый обитатель материнских недр.

— Так что «полевой» жизни пришел конец, — твердо закончил Алдымов.

Серафиме Прокофьевне не нужно было объяснять, что сказанное было как раз не подведением черты, даже не прощанием с прошлым, а еще одним признанием всей важности того, что случилось с ними, еще одним объяснением в любви. Впрочем, именно этого слова в их обиходе не было, как не было и «объяснения в любви», словно они боялись, не стовариваясь, назвать *чужим* словом то, что принадлежит только им, то, чего они еще никогда в предыдущей жизни не чувствовали, не испытали и чем дорожили.

— А еще я знаю, что сделаю в тот первый, самый первый вечер, когда мы останемся ночевать в нашем доме. Я усажу тебя на стул, если не будет стула, на ящик... Принесу таз, не будет таза — ведро... И омою твои ноги... Это чтобы ты знала: путь окончен, мы пришли...

— Пришли к более прогрессивной оседлой жизни? — иронической фразой Серафима Прокофьевна скрыла волнение, что передалось ей от уверенности Алдымова в том, что все будет именно так, как он сказал. — Только почему же ты своих любимых лопарей не убеждаешь в прелестях оседлой жизни?

— Правильно, не убеждаю. Все формы жизни возникают, становятся, затем изживают себя. Конечно, в какой-то, быть может, вполне обозримой перспективе, саамы могли бы вполне естественно перейти к оседлой жизни. Только они должны изжить, сами изжить свой уклад. Мне тоже казалось, что моя *полевая* жизнь — единственное, что мне по душе. Не привязанный, ни чем не обремененный, я мог заниматься тем, что мне было интересно и дорого. Я взял от нее все. Теперь мне интересно и дорого не только статистическое управление и саамские диалекты, но и ты с пупсом... И сколько бы меня еще два года назад ни убеждали, ни уговаривали, ни объясняли, ни водили на лекции, я бы не отказался от своей *полевой* жизни. А сейчас я буду камни ворочать и бревна таскать, а дом у нас будет.

При монтаже «козлового» крана в порту сорвался молодой рабочий, упал неудачно, на стоявшую внизу вагонетку, и крепко разбился, со множественными переломами. Серафима Прокофьевна рассказывала Алдымову с горьким состраданием о том, как перепуганные мужики потащили покалеченного на руках, вместо того чтобы положить на жесткие носилки...

— Ты знаешь, — как-то поспешно заговорил Алдымов, тревожно взглянув на Серафиму Прокофьевну, словно хотел ее предупредить о чем-то важном и боялся упустить время. — Есть профессии, где человек ни в коем случае не должен терять чувство страха. Страх, именно страх, не трусость, а сознание опасности — вещь совершенно необходимая. Парень-то молодой?

— Двадцать четыре.

— Вот видишь, — Алдымов помолчал, — страх — очень нужное, сторожевое чувство. Я это стал понимать только теперь, когда мы вместе...

Серафима Прокофьевна подняла на него глаза, и он понял, что продолжать не надо. Она подошла к нему, улыбнулась и твердо произнесла:

— И мне... страшно...

— Оказывается, глупые на первый взгляд слова «страшно хорошо» не так уж и глупы, — тихо сказал Алдымов, словно боялся, что их кто-то услышит.

## 5. И ВСЕ-ТАКИ ОБИДЕЛИ

«Мурманск так Мурманск», — рассуждал Иван Михайлович, пуская дымные колечки в купе мягкого вагона «Полярной стрелы», мчавшей его к новому месту службы.

Да, мчавшей, а давно ли еще двухосные теплушки, набитые колонистами, подрадившимися на строительство порта, флота, новых заводов и городов, по четыре семьи на «коробку», тащились от Ленинграда до Мурманска по три и четыре дня. Пассажирам после Петрозаводска случалось выходить и своими силами поправлять хлипкие пути, на скорую руку уложенные через болота и хляби в горячке империалистической войны на дистанции от Петрозаводска до Романова-на-Мурмане. Полтора года строили да пятнадцать лет до ума доводили. И только семь лет назад, в 1930 году, по путям, твердо вросшим в холодную каменистую землю, полетела выпущенная из Ленинграда в Мурманск, «Полярная стрела», заполненная геологами, ботаниками, ихтиологами, землеустроителями, инженерами всякого звания, топографами и моряками, как торговыми, так и военными. Летел вместе со всеми и младший лейтенант Михайлов в полной военной форме по случаю нового назначения.

Как и все нормальные люди, на пороге нового этапа жизни Иван Михайлович предавался воспоминаниям, к чему располагало двухместное купе международного вагона цвета «берлинская лазурь» с накладными, золотом горящими бронзовыми буквами «Полярная стрела» над окнами с хрустальными стеклами.

...Да что и вспоминать, работа по «объединенному троцкистско-зиновьевскому центру» была адова, но на другую и не ориентировали, и никто не спрашивал, спал ты или не спал, ел ты или не ел, домой забегали только белье переменить... Сначала, когда прошла команда, принести из дома подушки, улыбались, решили, что шутка. А когда пришлось спать по три-четыре часа в сутки, подушки очень кстати прились... Орден дали. С одной стороны. А с другой — его Красная Звезда у многих товарищей по оружию вызвала почти нескрываемую зависть, так что обойденные высокими наградами только покачивали головами, а ведь и сами признавали упорство Ивана Михайловича в достижении цели.

Ростом был Иван Михайлович, как говорится, в два топорика, от силы в три. Да, Иван Михайлович умел работать с подследственным до тех пор, пока тот не изъявлял добровольного желания дать признательные показания. А глаза были у Ивана Михайловича синие-синие, как петлицы на гимнастерке, как околыш на фуражке, как высокое летнее небо, прямо васильковые, а белесые ровные брови были чуть похожи на перистые облака.

...Хорошо было на душе у Ивана Михайловича. Так чувствует себя выпускник если не академии, то, по крайней мере, высшей школы. Выпускник успешный, получивший награду, хорошее назначение и никаких каверз от жизни не ожидающий. Мурманский край при здравом рассуждении место благодатное. С одной стороны, место каторжное, куда везли и везли спецпереселенцев, но с другой стороны, считай, и Ленинград под боком, и Москва не за горами. Не то что Сибирь, даже не Урал. От этих мыслей в лице Ивана Михайловича появлялось что-то молодое, свежее, почти счастливое.

Не каждому молодому побегу суждено стать полновесным деревом. Не каждому молодому оперуполномоченному, фельдъегерю, сержанту или младшему лейтенанту суждено стать комиссаром госбезопасности. И если в природе большие деревья живут дольше, чем бойкая поросль, то в госбезопасности не как в природе, а наоборот: у комиссаров большого ранга шансов уцелеть тем меньше, чем выше звание. Вот такой парадокс. И все равно большинство сотрудников, ну прямо как рыба на нерест, стремятся все выше, вверх, выше, а потом, лишённые сил, летят вниз, подхваченные сокрушительным течением, и не каждому удается достичь спасительного пенсионного плёса.

...Ни одной тяжкой мысли в голове у Ивана Михайловича.

Нет, что ни говори, есть в военной службе неизъяснимое достоинство!

Он почувствовал вкус к службе еще в первом приближении к армии, когда еще ходил в «переменниках». Что в армии самое главное? А самое главное — о себе не надо думать. И одежду дадут, и жильё дадут, и о том, чтобы был сыт, позаботятся. Исполняй, что скажут, и не умничай. Придет час — и заметят, и оценят.

В соседнем купе какие-то солидные мужики, с виду интеллигенция, забыв закрыть дверь в коридор вагона, запели, сопровождая песню звоном стаканов в подстаканниках, надо думать, не с чаем: «Там за далью непогоды есть волшебная страна!..»

Жизнь не обманет, не посмеет обмануть человека с тремя малиновыми «кубарями» на синих петлицах! Да, «тремя», по армейским правилам украшающими петлицы старшего лейтенанта.

Редкое здоровье и недюжинная душевная твердость наполняли неказистое с виду тело младшего лейтенанта.

Иван Михайлович отлично сознавал, что летит на гребне сокрушительной волны, поднятой историческим, прошедшим нынешней весной февральско-мартовским пленумом ЦК ВКП(б). По имевшимся в Ленинграде данным, в Мурманском окротделе дела шли неважнецки. В частности, товарищ Сталин потребовал со всеми фракционерами сражаться, как с белогвардейцами, вроде бы все ясно, а в Мурманске за весь 1937 год до самого августа полный штиль, семнадцать человек арестовано! Отправляя младшего лейтенанта Михайлова в Заполярье, Шапиро-Дайховский напутствовал его лично: «В Мурманске — сплошная контрреволюция. Мурманск наводнен перебежчиками всех мастей и шпионами, а работы нет. Взяли секретаря Мурманского окружкома партии Абрамова, посадили, а показаний получить не могут!.. В Кировске на АНОФ-1<sup>1</sup> диверсия, а начальник РО самоустранился. Ничего, я с ним лично разберусь. Из девяти арестованных осужден — один! А? Ты слышишь, один! Для них что, закон не писан? Сказано: вести следствие упрощенными методами. Санкции на физические методы дознания даны! Что им еще надо!? Бездельники! Белоручки! Думают в своем медвежьем углу отсидеться?!» Натан Евнович говорил куда более колоритно, но, к сожалению, есть такие краски, какие не должны расцветивать даже самое правдивое историческое повествование.

<sup>1</sup> Апатито-нифелиновая обогатительная фабрика.

Временами Ивану Михайловичу казалось, что его «Полярная стрела» летит, не касаясь земли.

Так ведь еще и не в Мурманск он прилетел, где полетели головы четырех секретарей Окружкома, четырех секретарей райкомов, множества комсомольских и хозяйственных работников, а залетел вовсе в Ловозеро, оказавшееся новым местом его службы.

Есть люди, которым судьба все несет на блюде, а вот Ивану Михайловичу все приходилось выбивать своими руками. Летел он в Мурманск в полной уверенности в том, что его ожидает хорошее назначение. И на коне, и звание, и орден. А главное — волна и напутствие, обещавшее большие дела... И вдруг — Ловозеро.

Откуда ему было знать, а в кадрах такого не сообщают, что орденосцем Мурманский Окружком в срочном порядке заткнул дыру в ожидании наезда бригады следователей УНКГБ Ленинградской области.

Перед самым прибытием Ивана Михайловича в Мурманск терпение у окружного начальства госбезопасности лопнуло, и было принято решение сержанта Даниила Орлова из Ловозера убирать. Добро бы, систематическое пьянство, это еще куда ни шло, но сержант Орлов смотрел на Ловозерский адмотдел как на свою дворню, как на свою челядь. Об использовании милиционеров в своих личных интересах писали и из милиции, и из партийных органов. Да и политически Даниил Орлов вел себя нетвердо. Родившегося от второго несостоявшегося брака ребенка сначала «октябрил», а потом крестил. Пытался в нетрезвом виде изнасиловать женщину. Но не смог. Половая его распущенность в небольшой местности вся была на виду. Вкусив опасную прелесть непостоянства, уже не знал стыда. Так он ходил в дом к кооператору Брындину, о чем писал сам Брындин мурманскому начальству в окружком: «Сержант Орлов считает меня дураком и в то же время ухаживает за моей женой. Не однократно позволял себе украткой входить в мою квартиру и разбивать семейную жизнь. Вышеперечисленный Орлов ведет сожительство не с одной женщиной и как партиец должен не водворять ссору, а где ссора — урегулировать».

Капля? Конечно, капля. Но капля и камень точит, а ведь Орлов не каменный... Капали, капали и утопили человека.

События по всем признакам надвигались такие, что работа снова предстояла адова, а где ж Орлову, если у него столько отвлекающих моментов.

Вот и решило начальство, прежде чем найдется Орлову надежная долгосрочная замена, поставить на Ловозерское отделение солидного ленинградского работника, призванного в корне поменять отношение местного населения и партийной организации к органам. Правда, злые языки, а они у нас и в органах есть, поговаривали, что начальник окружкома Гребенщиков, награжденный орденом Красной Звезды «за самоотверженную работу по борьбе с контрреволюцией», просто не хотел, чтобы рядом в управлении светилась еще одна Красная Звезда.

## 6. У КАМЕЛЬКА О СТРАННОСТЯХ ПРОГРЕССА

В свои полные двенадцать лет больше всего в жизни Светозар любил сидеть рядом с отцом и мамой перед горячей печкой, потрескивающей смолистыми дровами.

Разезды Алексея Кирилловича по тундре, командировки и в Москву, в Комитет Севера, на углу Воздвиженки и Моховой, и в Петрозаводск, и в Ленинград, в

Институт народов Севера, вошедшие в практику бесконечные вечерние совещания, да и дежурства Серафимы Прокофьевны в родильном доме, а то и крепкие холода, заставлявшие истопить печь уже днем, а еще и гости лишали Светозара любимого вечернего сидения с родителями у печки, перед открытой дверцей топки.

Усаживались после того, как прогорала первая закладка дров, печь уже дышала легким жаром, и на груди раскаленных углей и непрогоревших головешек закладывали еще четыре-пять поленьев.

Светозар подтаскивал к печке два венских стула, предназначенных для Серафимы Прокофьевны и Алексея Кирилловича, его же место было внизу, на полу, между ними, на маленькой скамеечке, специально построенной отцом. Мальчик смотрел в огонь, лицом чувствуя игру огненных всполохов, а плечами и спиной тепло тел отца и матери.

Иногда отец просто читал вслух. Особенно Светозар полюбил уже не один раз прочитанную «Черную курицу».

Но особое удовольствие доставляло самому Алексею Кирилловичу чтение новой в его собрании саамской сказки, привезенной с дальних погостов. Возвращаясь из поездки, голодный, продрогший, объявлял с порога, вытряхивая снег из промерзшей дохи: «А что я привез!» Это означало только одно — новую сказку. «Матрехин, возница, вот уж никак не ожидал, такой молчун, а тут вдруг сказкой подарил. Видно, настроение было хорошее. Прямо в санях и записал». Записывал Алексей Кириллович сказки на том диалекте, на каком ему их рассказывали, в надежде опубликовать со временем вместе с переводом и текст оригинала, на кильдинском, или бабинском, или нотозерском, или терском наречии, а то и на говоре екостровских лопарей, близком к кильдинскому диалекту, но все-таки со своей краской.

Когда рассаживались у печки на своих привычных местах, сначала все сидели молча. Жар из открытой топки, как жертвенный огонь, и согревал, и очищал мысли и душу от будничных забот. Отсветы живого пламени чуть румянили щеки, освещали их лица и зажигали огоньки в глубине глаз. Такими похожими друг на друга их никто никогда не видел.

Серафима Прокофьевна смотрела на живую пляску огня, на языки огня в печке, вздрагивала от револьверного, как ей казалось, треска сосновых дров, боялась, что выскочивший уголек попадет сыну в лицо, и думала о том, что именно этот огонь выжигает в ней память о первой жизни, о первом замужестве, таком тяжелом, перегруженном и подлинными невзгодами, и ненужным повседневным вздором. Ей уже начинало казаться, что она вспоминает какую-то чужую жизнь.

Это был тот самый отдых в конце пути, о котором ей говорил Алдымов, согревая своим телом в холодной теплушке. И как хорошо, что тогда, тринадцать лет назад, в свои тридцать семь, она не утратила способность любить, не испугалась быть любимой.

Этот немолодой ученый со вздыбленной густой шевелюрой и аккуратно выстриженными округлыми усами и бородкой, прикрывавшими свежее, не по годам молодое лицо, казалось, не прилагая никаких усилий, умел оградить ее от всех житейских трудностей и забот. Занятый выше головы, сначала в Мурманском губернском плановом отделе, Губплане, потом в краевом музее и множестве каких-то комиссий, он умудрился взять ссуду, и уже на второй год их общей жизни приступил к строительству вот этого дома на каменистой улице Красной, расположенной на второй береговой террасе, если считать от залива. Еще со времен бурного заселения города в начале двадцатых годов это место, откуда был виден весь Мурманск, расползшийся вдоль берега, именовалось «колонией». Дом вырос словно сам собой. Год прожили в вагоне, прямо на станционных путях, а после рождения Светозара, в тесной комнате в переполненном бараке. Пеленать сына приходилось, со-

гревая своим дыханием самодельный шалаш из одеял, наподобие саамской кува-сы, так было холодно. После всего, что пришлось перетерпеть, свой дом казался просто дворцом. А главное — печь! После вагонной буржуйки, источавшей кислый запах тлеющего угля, злосчастной американской «керосинки» и чадающей плиты в бараке печь, согревавшая разом весь дом, была истинным чудом, никакого дыма, и хватало всего пары небольших охапок по пять-шесть поленьев на то, чтобы в умеренные морозы в доме два дня держалось тепло.

— Светик, а ну-ка скажи, как на духу, у тебя в школе прозвище какое-нибудь есть, или не удостоен? — однажды спросил Алексей Кириллович.

— Меня в школе Лопарем зовут... — со вздохом признался Светозар. Ловко ору-дую кочергой, он переложил головню на еще не прогоревшие сосновые поленья и уперся подбородком на поставленную перед собой в упор железяку.

— Вот как?! Это за какие же такие заслуги? — отец потрепал сына по голове.

— Это не за мои заслуги, а за твои. Рейнгольд Славка и Севка Валовик говорят, что твой музей только лопарями и занимается.

— А они хотят, чтобы мы кем занимались? — спросил отец.

— Они говорят, что, пока не пришли сюда русские, Мурман был краем диким и мертвым...

Смех отца прервал сына.

— Давно пора ваш класс снова к нам в музей вытащить, а еще лучше мне у вас в школе лекцию прочитать. Да, серьезное упущение. Во-первых, лопари — это скорее прозвище, данное саамам загнавшими их на край земли финнами. А заниматься ими надо, и безотлагательно. Все дело в том, сыночка, что каждый народ на земле несет в себе какую-то частицу всей правды о человечестве. Саамы хранят тысяче-летний уклад и тысячелетнюю мудрость своего народа и своей земли, а сейчас на-стал для них трудный час, или — или... Нужно по возможности понять и обяза-тельно сохранить саамское племя, пока они еще похожи на самих себя, пока еще не стерлись в неразличимую неопределенность их дух, их ощущение жизни.

— Пап, но по сравнению с нами, смотри, у них нет ни техники, ни науки, они же слабенькие, — сказал Светозар.

— Были бы, как ты говоришь, слабенькие, не выжили бы. Стало быть, сильны, только другой, не нашей силой. Человек обретает все большую и большую силу и становится просто опасен. Пора думать, чем эту опасную силу можно смягчить.

— И чем же? — спросила Серафима Прокофьевна.

— Известно. Культурой. Никакого другого смирения для обуздания дикой силы в природе нет.

— Алеша, если уж речь о культуре, — негромко сказала Серафима Прокофьев-на, — может быть, надо поспешить с их переселением из этих дымных и нечистых берлог в нормальные дома...

— Для нас с тобой, Сима, нормальный дом — это одно, а для кочевого народа нормальный дом как раз такой, который можно собрать, погрузить на сани — и в путь!

— А разве оседлый образ жизни не прогрессивней кочевого? — блеснул школь-ной премудростью Светозар.

— Давай сначала разберемся с прогрессом. Придумали на место старого бога но-вого — прогресс. А это уже не один бог, а много. Есть прогресс в материальной культуре, в обустройстве жизненного обихода. Это одно. Есть прогресс в социаль-ном устройстве общества. Это другое. А ведь есть еще прогресс в человеческих от-ношениях. От людоедства вроде бы ушли, рабство осудили. Прекрасно. Но почему же тысячи лет одна жестокая эпоха сменяется другой, и снова жестокой. Получает-ся, что вроде бы куда-то движемся, а по сути, ни с места.

— А я как врач как раз хочу самого скорейшего изменения жизни лопарей, ты же видел, как они живут, а в каких условиях рожают, — сокрушенно проговорила Серафима Прокофьевна.

— Ты права, но мы говорим о разных вещах. Я занимаюсь саамским букварем с полным сознанием того, что он позволит им сохранить свою неповторимость в этом мире. В истории едва ли не каждого народа наступает пора, когда он приближается к грани, за которой лежит утрата своего лица. Иногда этот переход растягивается на века, иногда происходит в исторических мерках почти в одночасье. Пришло время, чтобы разгадать этот совершенно удивительный народ. И если они себя никому не навязывали, не требовали, чтобы кто-то еще жил так, как испокон веков живут они, это не значит, что их жизнь не часть мировой истории и культуры. А по моему убеждению, это драгоценный исторический опыт. Но историю пишут народы-завоеватели, огнем и мечом утверждающие свой взгляд на мир, свой уклад жизни. Сильнейшие почитались лучшими. Какое заблуждение! А Кло — девушка беспечная, стирает с карты мира целые народы. Где печенег? Историческая память сохранила их кровавые подвиги, после чего они исчезли так, что и следа не найти. А финикийцы, владевшие всем Средиземноморьем? Безраздельные владельцы! Где они? Остались предания о солеварнях, первых морских судах, остался мертвый язык, на котором некому разговаривать. Да, конечно, Карфаген, Ганнибал, Пунические войны, битва при Каннах... Когда римляне овладели Карфагеном, они вырезали пятьсот тысяч!.. Приврали, надо думать, но приврали для славы, чтобы потрафить все той же Клио, обожающей душек военных. А в Библии? Самсон ослиной челюстью побил две тысячи филистимлян. Ай да молодец! Памятник ему и бессмертная слава. И ни слова о том, что умирать одинаково страшно всем, будь ты филистимлянин, финикиец или печенег. Логика истории? История так многообразна, что каждый может видеть в ней то, что хочет. Почему же не обратят свой взор к народам мирным, не искавшим себе славы в лужах и морях крови? Они разве не по «логике истории» появились на свет? Извольте познакомиться — саамы, они же лопари. В их преданиях нет подвигов душегубства, нет хвастовства завоеваниями. Это ли не достойно изумления и глубочайшего почтения? Жизнь саамов — это древнейшая, не менявшаяся, быть может, тысячелетия жизнь, доставшаяся нам не в преданиях и документах, не в памятниках, а въяве. Наблюдая эту жизнь, размышляя о ней, мне пришла в голову совершенно безумная, но, кажется, счастливая мысль. Ты говоришь, Сима, что у них нет школ, нет больниц, — глядя перед собой, произнес Алексей Кириллович, хотя Серафима Прокофьевна ни о школах, ни о больницах не говорила, — но у них нет и не было судов, у них нет и не было тюрем! Три тысячи лет без тюрем, без полиции, без насилия! Что такое история? Это история властителей, вождей, князей, ханов, королей, царей. И у каждого стража, у каждого дружина, войско, чтобы диктовать свою волю, подавлять, понуждать к покорности. Как это, в конце концов, однообразно и скучно. Саамы, может быть, один из немногих народов, чья тысячелетняя история не написана кровью! А как они относятся к женщине? Жену зовут только ласковыми именами, за обедом лакомый кусок ей, первый глоток рома — ей. Жена и дочери едят со всей семьей и с гостями. У горделивых кавказцев женщины только прислуживают за столом джигитов. А женщины в Персии? Уж я повидал. Заживо погребены под чадрой, платками, шальями, спрятаны за дувалами и за стенами гаремов... Лопарь приходит в гости и кланяется сначала хозяйке. Это же отменный петербургский стиль! Отвечая вам, он смотрит на хозяйку, точно разговаривает с ней по старшинству. Жестокие правила Востока охраняют женщину от неверности. Но супружеская неверность у саамов дело неслыханное. Я говорил с ловозерским священником, еще до его ареста, за пятнадцать лет его служения в Ловозерском приходе ни одного незаконнорожденного, ни одного внебрачного ребенка. Ты говоришь, как

убоги у них жилища. Да, в деревянной примитивной топе живут несколько семей. Они не тяготятся этим соседством и не стремятся к уединению. Наши коммунальные квартиры — это наша беда, испытание, если не пытка. А они еще и гостя пороят к себе заманить. Как они говорят? «Кого бог полюбил — тому гостя послал». «Страннику дал — на промысле в десять раз взял». «Путника накормил — десять лет голода не будешь знать». Чем больше народа в топе, тем хозяин счастливей. Такая сближенность, тяготящая нас, у них, быть может, основа чувства родства и единства. И родство это подлинное и действенное. В русских деревнях, в общинах какое дело самое конфликтное, и с подкупом, и с дракой, и с обидой и затаенной из рода в род враждой? Дележ наделов. Кому какой покос, кому какой выпас, кому какой клин? Саамы сотни лет, до появления здесь нас, делили промысловые угодья и пастбища для тысяч своих оленей. Каждый погост имеет свой надел. В чужом наделе промышлять нельзя. Это закон. Нельзя! И баста! Его все знают, и никакой милиции-полиции, никаких судов, никаких межевых столбов и рубежей. «Воловьи Лужки наши!» «Нет, Воловьи Лужки наши!..» Им этого не понять. Надел каждого погоста распределяется между семьями. Делят всё: озера, реки, пастбища, луга — всё, исключая горы. Все горы общие. Кто решал? Распределяют зимой, когда все саамы на своих погостах. Решали на суйме, решения справедливые и безапелляционные. Большая семья — большое озеро, маленькая семья — озеро поменьше. Лапландец сознает, что он не собственник угодья, он им пользуется временно, по приговору своего общества. Собственность не делает его ни жадным, ни злым, они не знают слова «алчность». Богатство и бедность — это наши понятия. Лопарь, имеющий двадцать тысяч оленей и две сотни оленей, живут примерно одинаково. В двадцать седьмом я познакомился с Семеном Бархатовым, двадцать тысяч оленей. Ветхий тулупчик из оленьих шкур. Тобурки на босу ногу. В топе у него такие же, как везде, нары, разве что оленьих шкур на них постлано потолще. Та же посуда из бересты, правда, два-три лишних чайника да несколько норвежских каменных кружек — вот и все богатство. Свобода от собственности! Революция сбила эти цепи с душ человеческих, а у них и не было этих цепей. Идеал античного философа: все свое ношу с собой! Это ли не достойно удивления и уважения. А где нет владычества собственности, там нет господ. Могут сказать, дескать, господа бывают разными, правильно, кто-то получше, кто-то похуже, но главная-то беда в том, что все они плодят и плодят рядом с собой отвратительную породу завистливых трутней, холопское племя. А наши славные саамы были свободны не только от господ, но, что не менее важно, среди них не зародилось пакостного племени «при господах». Эта публика пострашней чумы! Знаешь, Светик, сколько было стольников у вдовствующей царицы Прасковьи?

## 8. У КАМЕЛЬКА О НАСЛЕДСТВЕ ЦАРИЦЫ ПРАСКОВЬИ

— Что еще за Прасковья? Когда она правила? — спросила Серафима Прокофьевна.

— В том-то и дело, что она даже не правила, а двор у нее был, да еще какой! Это жена Ивана Пятого, злосчастного брата Петра Первого. Следа по себе ни этот Иван, ни пережившая его супружница не оставили. Так вот у этой царицы Прасковьи одних стольников числилось двести шестьдесят три персоны! А кроме них, тунеяд-

ствовало еще и алчное племя ключников, подключников, подьячих, стряпчих, а еще немало было и полезной челяди, вроде истопников, сторожей, скотников, конохов... Ну, были и, как говорится, сплыли, что о них вспоминать? Нет, как раз забывать нельзя. Они-то, в отличие от Прасковьи, и след оставили. Что это за народ, вся эта несчетная челядь при господах? За крохотным исключением, а без исключений и правила нет, вся эта армия, а это уже сословие, речь не только о Прасковьиной дворне, выработала особого рода человеческий тип. Что это за люди? Это люди, для которых труд созидательный, труд продуктивный, ремесленный, промышленный, даже торговый, а пуще всего, конечно, крестьянский, страшной господских плетей на конюшне и пощечин и подзатыльников в горнице. Холопы племя — страшные людишки. А уж как они дорожили и как гордились своим местом «при господах», как на «мужичье» посматривали! Саамам это чуждо, для них это дикость! Не знали они соплеменников, боящихся труда, желающих пожить за чужой счет. Труд у них в почете. Лучший добытчик зверя получает звание «трудник»! Герой труда! А этим стольникам, спальникам и подключникам страшно быть низвергнутым на крестьянский двор, к сохе. Хоть под лавкой, да на господской кухне. А ради этого они угождали и угодничали, интриговали, лебезили, строили козни, соперничали в «забегании» перед господами. И каждый мечтал вымолить у Бога да выслужиться у господ так, чтобы и самому раздавать затрещины. А вот бедные саамы не знали этого искусства угодничанья перед господами. Не знали они радости удачного наушничества, ловкого доноса, слов-то таких не знали. Нет у них в словаре таких слов! Не знали радости от подножки, подставленной сопернику в борьбе за теплое местечко. Казалось бы, ну ищут людишки теплое местечко, и, как говорится, Бог им судья. Да нет! Они-то и есть подлинные воспитатели деспотов всех калибров, от кухонных до дворцовых.

— Воспитатели? — простодушно удивилась Серафима Прокофьевна.

— А как же! Усыпленный ласкательями, подхалимами, угодниками властелин в любом самостоянии видит дерзость, непокорство, бунт, требующий с его стороны жестоких мер. И меры эти с радостью берутся исполнить все те же холопы. Злое дело легко начать, остановить трудно, а уж исправить...

— Почему трудно? — спросил Светозар, которому частенько приходилось «исправляться». Он знал, что, принужденный признаться в какой-нибудь своей проказе или вранье, иногда и поревев, в конце концов услышит от отца: «Преступники изъявили раскаяние, а государь — милость», и можно будет жить дальше.

— Потому, милый друг, что всякое большое зло выдает себя за благо, за необходимость, даже требует почитать себя «пользой». И чем больше зло, тем больше оно требует, чтобы почиталось это зло благом. К сожалению, люди преуспели в оправдании самых скверных дел. Потому властители и ждут грубой лести. Для этого и нужна в первую очередь лстящая челядь. А уж кто пронырством ли, удачей выбьется в господа из конохов, трубочистов, спальников и подключников, тоже начинает плодить вокруг себя угодливую тварь всякой пробы! Каждое время, каждый уклад вырабатывает людей определенного качества. Больше того, задает тон, возникает потребность в определенном сорта людях. «Времена господ» неизбежно порождают племя, для которого не существует никаких своих твердых, незыблемых представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для них истина — хозяин.

— Так это как у собак... — выдохнул Светозар и посмотрел на отца.

— Соображаешь, сынок, верно. Исторический материализм предлагает смотреть на историю как на продукт классовой борьбы. Почему бы нет? Но вот вопрос, откуда и рабовладельцы, и феодалы, и буржуазия, и... — здесь Алексей Кириллович остановился и продолжил: — Скажем так: хозяева жизни, рекрутировали, то есть набирали себе помощников для самых неблагоприятных дел? И как мне кажет-

ся, я даже убежден, что источником, неиссякаемым резервом людей для неблаговидной службы как раз и была эта человеческая глина, которую представляли люди «при господах». И что самое интересное, со временем они сами стали с их моралью, вернее, без морали сильнейшей властью, сравнимой с высшей. Две тысячи лет над миром звучат христианские проповеди. Где они тонут? Почему же за две-то тысячи лет они не стали основой жизни? Где же государства и страны, живущие по-христиански, что-то не видели их и до сих пор нет. Почему? Да потому, что слово господина оказывается весомей, дороже и действенней, чем слово Господне. Откуда же это невероятное лицемерие — на словах исповедовать одно, а жить по другим правилам? Как же душа-то обращается в материю, из которой умелые руки лепят все, что им угодно и потребно? Вот оно, наследие княжеской, боярской, господской челяди. И апостолов их потаенной веры кругом пруд пруди. Только саамов среди них нет. Вот у кого поучиться жить по совести. У них, к примеру, нет тайн друг от друга. А разве не тайна лежит в начале любого дурного поступка? Самые зловещие организации добавляли в свое название как раз словечко «тайный», тайная канцелярия, тайная полиция, тайное общество, тайная дипломатия... А коммерческая тайна? Это же для того, чтобы или обжулить покупателя, или обойти конкурента. А вот еще. Их жизненному обиходу, практике чужда рассудочность. Жители тундры в большей мере полагаются на свои чувства. Саам воспринимает пейзаж не так, как мы, то есть не только зрительно, он питает его душу и мысль. Рассудочность порождает дистанцию, как бы отстраняет нас от предмета, о котором мы рассуждаем, будь это человек или явление. Чувства, напротив, сближают, соединяют куда прочнее, чем мысль. Все лучшее, что создано на земле, продиктовано, порождено высокими и бескорыстными чувствами. Да и кто сказал, что наши чувства глупее нас? Цивилизация, основанная на частной собственности, цивилизация, начертавшая на своих знаменах: «Барыш!», «Власть!», «Роскошь!», «Честолюбие!» «Превосходство над другими!», и все «любой ценой», а еще «Праздность!» «Эгоизм!» — такая цивилизация обречена. Мне это ясно, как *простая гамма!* Угодничающее перед властью и деньгами мещанство, гипертрофированное, самодовольное, самовлюбленное, готовое возвести себя в прел создания... Это же тупик! И это умным людям было очевидно еще в начале прошлого века. Все, что предсказывал совестливый Герцен, страждущий за человечество Достоевский, объявивший наступление «эпохи гривенников», все подтвердилось и подтверждается ежечасно по всему свету. Я вижу, как много у нас неправильного, нездорового происходит вокруг, но чувство мое подсказывает, что мы на верном пути, мы ищем новые смыслы, ищем что-то утерянное... Может быть, не там ищем? — Уже не отблески от пляшущего на поленьях огня, а еще и внутренний свет озарил лицо Алдымова. Он сдержал улыбку. — Как-то мне в голову пришла простая мысль... И только потом, по размышлении понял, что эта мысль дорогого стоит. В саамах нет начала воинственного, разрушительного...

— А что, что они создали? — нетерпеливо спросил Светозар.

— Об этом и речь! Человека! Они создали человека, каким ему надлежит быть! Да, их уклад, скорее всего, соответствует картине, именуемой в исторической литературе *первобытный коммунизм*.

— Па-а-ап, но коммунизм — это же когда все у всех будет и будет полно. А саамы — это ж такая беднота, а ты — коммунизм, — усомнился Светозар.

— Во-первых, мой милый Светик, коммунизм, коммуна — это прежде всего особая форма человеческого сообщества, исключающая насилие. Это общий труд и общее пользование результатами труда. А еще это особая форма отношения человека к природе, тоже исключающее хищничество и насилие. Как-то у нас любят делать акцент при разговорах о коммунизме на жратву и барахло. Социализм и мещанский рай — вещи разные. Любую идею можно опошлить.

— Сейчас ты нас в правом уклоне начнешь подозревать, — улыбнулась Серафима Прокофьевна. — Ты уж нас не пугай.

— Относительно коммунизма, Сима, в головах нынче страшная путаница. И если подменить понятия, если возвести в цель то, что я называю, прости за грубость, «жратва и барахло», то и революцию не нужно было затевать. А призрак коммунизма на самом-то деле бродит по Европе с незапамятных времен, раньше, чем это заметили Маркс и Энгельс. Итальянцы жили в коммунах в те времена, когда у нас еще и крепостного права не было. Человечество ищет, ищет, пытается найти формулу спасительного общежития. Нельзя подгонять мечту человечества под примитивный мещанский идеал. Разумеется, в будущем жизненные потребности, и куда более широкие, чем у современных саамов, будут удовлетворяться сполна. И все-таки суть коммунизма в другом, это ненасильственное сообщество людей и ненасильственное отношение к природе. И свобода от рабства собственности. Вот эти три качества как раз и составляют существо жизненного уклада саамов. Их коммунизм не идеологичен, он стихийен, это исторически сложившаяся форма бытия, обеспечивающая их выживание на протяжении многих веков в суровых условиях, но без войн и вражды. Это чудесный, удивительный народ! Казалось бы, их так мало, они предназначены к вымиранию. Но их численность стабильно сохраняется. Это чудо. Скелет у них слабее, чем у финнов и норвежцев, но они выносливее, лучше переносят лишения и все напасти полярной зимы. И совершенно непоказная независимость, самоуважение. Мы народ порченный. Нам ужасно важно знать, как мы со стороны смотримся, что о нас другие подумают и скажут. А вот саам от чужого мнения не зависит. Вот подлинный аристократ!..

— Похвалил! А то мы не видели аристократов! — проговорила Серафима Прокофьевна.

— Aristos! Лучший. Аристо-кратия. Власть лучших. А наши? Если они такие хорошие, даже лучшие, что ж власть не удержали? И кому ее отдали?.. — здесь Алексей Кириллович вспомнил о сидящем у ног сыне и осекся, не стал договаривать, чтобы не вносить в юную душу непосильную смуту. — А Древний Рим? Патриции. «Патриций» от «патрон», «покровитель». Ромул, придумавший это звание, давал его тем, кто опекал бедных. Этого звания были достойны лишь первейшие и сильнейшие, опекавшие народ. И что же? Выродились в касту привилегированных. Будут они опекать народ, держи карман шире. Попечители о нуждающихся и забыли, что значит их звание. Только о себе и только для себя! Процесс этот называется — вырождением. Лучшим нельзя родиться. Лучшим нельзя назначить. Лучшим можно только стать. Идет журавлиный клин, лебединая стая, над морем сутками идут, и первому трудней всего. Что заставляет встать первым? Что заставляет сменить вожака, а они в полете меняются, одному не выдержать? Значит, этот комок перьев каким-то неведомым нам чувством, а может быть, как раз нам-то и ведомым, сознает: я лучший — и идет вперед, берет на свои крылья удар встречного ветра. Вот и у саамов никаких князей, бояр, родовой знати... Я вижу, ты устал, я заменю тебя...

— Но кто-то должен быть во главе, кто-то должен принять решение, когда, к примеру, начать кочевье, когда идти на охоту, где разбить становище... Надо как-то и неизбежные житейские ссоры и споры разрешать... — мечтательно, словно сквозь пелену каких-то своих далеких от саамов мыслей спросила Серафима Прокофьевна.

— Вот это и достойно удивления! Старший, ведущий у них не тот, чьи предки были когда-то сильны и безжалостны, не тот, кто получил богатое наследство, а тот, кто силен и разумен сегодня, сейчас. И удивительна способность этих людей признавать не силу, не власть богатства, а правоту... Они чувствуют правду жизни самим своим естеством. Мне иногда кажется, что они само порождение земли, тун-

дры, в них нет и примеси лукавства, криводушия, злобы, как их нет в ягеле, в березе, в бруснике или морошке...

— Алеша, слушаю с ужасом, — вдруг отвлеклась от своих дальних мыслей Серафима Прокофьевна, — разве можно людей зачислять в ботанику? — она прижалась к плечу мужа, словно готова была искать у него защиты и от него самого.

— Серафима, почти София, где же твоя мудрость?! — с нарочитым пафосом воскликнул Алексей Кириллович, а Светозар запрокинул голову, чтобы увидеть мамино смущение. — Человек — это изумительный творческий акт природы, и я говорю о чуде. Кто знает, может быть, именно саамы даны человечеству как ответ на самый тяжкий вопрос человеческого общежития: может ли выжить на Земле невоинственный, мирный народ? Или борьба за существование — это кровавое проклятие над родом человеческим? О них так мало известно, что иногда я начинаю выдумывать их древнюю историю. Может быть, саамы — это потомки великого народа, уставшего от войн и битв, от кровопролитий и душегубства. Может быть, они первыми в мире поняли, что убийство не созидательно, в конечном счете бесперспективно. Господство человека над человеком, угнетение, эксплуатация не достойны человека и не плодотворны. Я не зря вспомнил о журавлиной стае, они живут по каким-то схожим законам. Они отдали все блага так называемой цивилизации за право жить, не убивая, не подавляя других, не зарясь на чужое богатство, не завидуя и не ревнуя к чужой славе и почестям. Египет, Греция, какие-нибудь инки создали великую культуру, вписали удивительные главы в историю человечества и не сумели выжить. Пирамиды, каналы, Колизей, висячие сады, удивления достойные творенья рук человеческих, но рядом с чудом жизни это так немного. Все эти творения можно и повторить, и превзойти. Нельзя лишь повторить прерванную жизнь. Нельзя превзойти чудо жизни. Вот почему для меня история саамов куда важнее, значимее, чем загадка египетских пирамид. Кстати, в преданиях саамов поминаются пирамиды. Бог даст, и найдем. Но самая большая загадка в том, как они умудрились выжить, выжить на протяжении многих сотен лет. Это единство земного, природного и человеческого, какого я не встречал нигде. Они действительно верят в то, что происходят от оленей, что между ними прямое кровное родство. Они живут, как боги! Чем боги отличаются от людей? Боги выше своих желаний. Саамы не хотят чужого, где такое в мире еще видано? Не хотят еды больше, чем могут съесть. Одежды больше, чем могут сносить. Их обычай дарить своих оленей доводит иных до разорения, но они не погибают, живут...

— Па-а-ап, а вот для чего все это создано? Весь мир. И Земля, и Солнце, и звезды, и то, что за звездами, все, все, все...

— Спросил! Думаешь, мы до утра будем у печки сидеть? — улыбнулась Серафима Прокофьевна.

— Правильно, сыночка, ибо человек, не задающий вопросов, подобен траве! Вопрос серьезный. Обязательно поговорим. А пока возьми кочергу, разбей вот эти две головешечки. Я сейчас угольков в самоварчик закину, и попросим у добрейшей Серафимы Прокофьевны нам сухариков к чаю.

Они еще не двинулись с места, сохраняя общее тепло, когда в окно негромко постучали.

Серафима Прокофьевна подавила вздох, случайные гости, увы, были делом хотя и привычным, но все-таки для хозяйки обременительным. Сколько народу знало Алексея Кирилловича, скольких знал он, все могли в любое время, в любой час постучать в дверь или в светящееся окно и знать, что дверь отворится.

— Ставь самовар, вот и гости... — сказал Алексей Кириллович и пошел в сени открывать.

Через минуту он вернулся в комнату, держа за плечи молодую женщину в сбившемся платке и беличьей шубке. Казалось, что Алдымов не ведет, а несет ее, и если разомкнет руки, она тут же просто осядет на пол.

— Катюша, что случилось? — с тревогой спросила Серафима Прокофьевна и обняла вошедшую невестку, словно приняла ее из рук мужа. — Что случилось?.. Где Сережа?

— Сережу взяли... Я не могу там ночевать... Я не могу...

Кровь отхлынула от лица Серафимы Прокофьевны.

— Куда взяли? — спросил Светозар.

— Иди, Светик, спать, поздно уже, — глаза Алексея Кирилловича и сына встретились. Отец испытал чувство беспричинного стыда, зная наперед, что не сможет ответить сейчас на вопрос сына. Он посмотрел прямо в глаза сыну с тайной надеждой на то, что у того достанет милосердного разума не повторять вопрос.

— Спокойной ночи, — тихо произнес Светозар, почувствовав, что потряслась беда. Он оглянулся на тетю Катю и пошел в свою комнату даже с охотой, тайно надеясь, что утром, как бывает после худых снов, все снова будет хорошо.

## 9. ЧЕЛОВЕК В ПРОСТОЙ ШИНЕЛИ

Есть люди неизвестного назначения, и потому никакому назначению не соответствующие. Вот они-то как раз и оказываются пригодны на все случаи жизни. Эти люди несут ярем рабства так легко, что, кажется, вовсе его и не замечают. Удивительно, но в этом своем состоянии, которое другим было бы в тягость, а то и позор, они умудряются быть самодовольными, горделивыми и даже надменными. Этим людям, так или иначе, готовят для исполнения самых неожиданных дел. Интересно, что в ходе такой подготовки им сообщаются сведения о разного рода человеческих добродетелях: о дружбе, верности, как говорится, любви к ближнему. И сообщаются эти сведения словно для того, чтобы они сумели испытать ни с чем не сравнимое чувство своей значимости, исключительности, свободы, когда им предоставят право пренебречь всеми человеческими добродетелями.

Быть может, метафизическим знаком этих людей могла бы служить *вода*, способная, как известно, принимать форму сосуда, в который бывает помещена. Это с одной стороны. С другой же стороны, *вода*, предоставленная сама себе, будет стремиться вниз, вниз и вниз, где соединяется с подобной же себе...

В то время когда настоящие партийцы проходили жесткую чистку 1925 года, прошел чистку и невзрачный батрачок Ванька, служивший за харчи по разным дворовым разъездным делам у крепкого мужика Ульяния Хритова. Кроме того, Иван пас своих, то есть Хритова, коров и посторонних. В сложной ситуации, во избежание «твердого задания», Хритов решил по налогообложению перейти в разряд «без наемной силы», а поскольку силы в Ваньке было не шибко много, то без него можно было и обойтись и таким образом увильнуть от неминуемого зачисления в кулаки. Чистку у Хритова Ваня прошел быстро. «Вот — Бог, а вот порог», — сказал Ульяний и попросил Ваньку Михайлова со двора убраться. С пустыми руками ушел от Ульяния Хритова Иван да с занозой в сердце, глубокой, мстительной, так там на всю жизнь и оставшейся. Пропать бы Ваньке, но подобрал бывшего безупречного батрака комсомол. Здесь пришлось тоже пройти чистку, поскольку Ванька, было дело, дорожа местом при Ульянии Хритове, говорил слова в поддержку крепких хозяев...

Сегодня младшему лейтенанту госбезопасности смешно было бы читать выписки из протоколов волкома, где он отвечал на вопросы о религии и об отношении к колхозам. «Я лично в церковь не хожу и икон не признаю, это для меня ничего не составляет. А насчет матери и брата, то я не отрицаю: в церковь ходят, но драться с

ними на этой почве я не желаю. Насчет разлагательской работы в колхозе, то я не разлагал, это не верно». Ответ удовлетворил. Худо-бедно, а взяли возницей в агит-проп волкома, волостного комитета. Повозил агитаторов по волости, наслушался, как надо с массой работать, и сам стал восполнять в меру своих сил и малой грамоты нехватку агитаторов. По причине политической еще незрелости некоторые вопросы проваливал, даже на бюро просили объяснить, почему стоило Михайлову объявить в Старокаменке неделю борьбы с безграмотностью, как мужики тут же стали закупать водку. Зато сумел отличиться во время кампании по заготовке мешкотары. И если поначалу, вразумляя неразумных мужиков, говорил: «Вы *дискретно* *руете* дело партии!», то уже через полгода без запинки выговаривал «дискредитируете». Заметили. Оценили. Подучили. Направили в милицию. В милиции Ванька споткнулся, да так, что мог и не подняться. Оказалось, что собранные в Лыськово, Нерезжского уезда, штрафные деньги сдать забыл. Но на собрании волостного адмоддела, где уже хотели гнать Михайлова Ивана в шею из рабоче-крестьянской милиции и отдать под суд, поднялся старший опер Гурачев и сказал сильную речь: «Наш товарищ Михайлов вышел из батраков невоспитанным и попал в милицию, где над ним не было взято правильное руководство. Занимались мы воспитанием человека, бывши забитого? То-то и оно! Пропавшие деньги как умышленной растратой признавать нельзя. Может, он их истратил на необходимые нужды, надеясь заложить жалованьем. Куда его? Выгоним обратно к кулакам, в которых он жил раньше?..» И все в таком духе. Голос у Гурачева был громкий, стало быть, убедительный.

А тут как раз поспела кампания по мобилизации переменников на общий сбор.

Армия в двадцатые годы устраивалась то ли из бедности, то ли подчеркивая отнесенность независимость республик, вошедших в Союз по территориальному признаку. Немногочисленный постоянный состав времени пополнялся переменниками, набиравшимися из жителей своего же военного округа. Так что армия не была чужеродной силой для данной местности. Кулаков, зажиточных и лишенцев к армии не подпускали. Красноармейская казарма была в то трудное время местом теплым и довольно сытным. Тяжелого труда и особенной муштры не было, зато учили читать, учили писать, рассказывали об устройстве мира, показывали глобус и подтверждали картой полушарий, читали газеты и книги. Приобщали к политической грамоте тоже. Время пролетело быстро. Ванька был уверен, что его место в армии. Ему нравились и форма, и уважение к красноармейцу, и отдание чести, воинское приветствие, и возможность ходить во всем казенном. Не то что в сравнении с батрацкими мытарствами и скудной и тяжелой крестьянской жизнью, даже в сравнении с милицейской службой армейская жизнь была ох как по душе красноармейцу Ивану Михайлову. Из всех родов оружия самым безопасным и авторитетным, как он понял, были агитация и пропаганда, и быть *политбойцом* стало мечтой Ивана. Увы. Отзывы на красноармейца Михайлова были составлены к концу сборов начальником Особого отделения ОГПУ при 29-й стрелковой дивизии товарищем Пейзнером по представлению помполита 112-го полка товарища Войто. Опустили товарищ Пейзнер и товарищ Войто заплот перед военной карьерой размышлявшегося политического бойца. Приговор был жестким: «Политически слаб. Коммунистически выдержан». Что это значит в переводе с политармейского языка на общедоступный? Неумен, но исполнителен. Когда Михайлов узнал, что из армии его возвращают в первобытное состояние, была даже мысль застрелиться.

Но передумал и написал, умышленно умолчав о своем милицейском прошлом:

«Товарищи бойцы и командиры 112-го полка 29-й стрелковой дивизии! Если меня лишит армии, я погибну, как я есть батрак, и нахожу, что, уволившись против зимы, не найду себе должность. И с другой стороны помощи не нахожу, парт-

секретарь говорит одно, а на деле не оказывает. А Красной Армии я благодарю, что научила писать, и читать, и понимать казусы мировой революции. Отставленный от Красной Армии, буду страдать до конца моей жизни. И затем да здравствует вождь пролетариата и советской власти под руководством Коммунистической партии!»

Письмо не помогло. Но пожалевший никчемного парня помполит товарищ Войто дал демобилизованному бойцу отличный совет: «Поезжай-ка ты, бедолага, в Москву, там еще никто не пропадал, на всякого дело найдется».

Люди, к ратному делу неискусные, как показала жизнь, могут преуспеть на войне с теми, кому и в голову прийти не могло оказывать им сопротивление.

Трудно сказать, как бы сложился саамский заговор, если бы Всесоюзное акционерное общество организационного строительства, Оргстрой, располагало в Москве только одним адресом, на Ильинке, в Рыбном переулке, в доме два. Ну содействовало бы оно себе рационализации техники управления, ну внедряло бы по мере сил наиболее совершенные для своего времени организационные системы и технические формы работы в учреждениях, проводило бы квалифицированные инструктажи по вопросам операционных процессов, техники торговли, счетоводства, учета и делопроизводства.

Но был и второй адрес у Оргстроя, на Кузнецком мосту, угол Рождественки, дом двадцать-бэ, где располагались экспедиция и склады.

Иван Михайлович Михайлов после долгих полубездомных мытарств по Москве прибил-таки к Оргстрою, и записавшись он по первому адресу, на Ильинке, может быть, не только его, но и многих других людей жизнь сложилась бы как-то иначе. Он даже обратился в поисках работы как раз в главную контору на Ильинке, но в силу ничтожного образования был переадресован на Кузнецкий мост, ставший в его биографии мостом почти что Аркольдским, приведшим его на Лубянку.

Вот здесь-то, совсем неподалеку от огромного здания бывшего страхового общества «Россия», выходявшего фасадом на Лубянскую площадь, Иван Михайлович нашел себя сначала как грузчик рациональной конторской мебели, доставлявшейся гужевым транспортом заказчиком. Карьера грузчика Ивану Михайловичу не задалась, не обнаружив достаточной физической выносливости, был он по неизмеримому человеколюбию и милосердию старшего экспедитора Андрона Кальпуса переведен на доставку картонажного оборудования для контор и управлений.

Обложки и папки для хранения дел, разделители с прокладками-указателями для дел и карточек, конверты с прозрачными окнами, формуляры и карточки по учету, счетоводству и хранению деловых бумаг упаковывались в объемистые пакеты согласно заявке. Ивана Михайловича навьючивали канцелярским картоном в пределах его грузоподъемности. Объясняли, как короче добраться до заказчика, и выпускали в город в свободный полет.

Уже через полгода работы по доставке Иван Михайлович мечтал о работе под теплой крышей, а не в городской толчее, под дождем, в снежной каше, в пыльных вихрях. В переполненный трамвай с такой поклажей и не думай соваться, весь день на ногах, зато город он узнал очень неплохо. И какой-нибудь Кривоколенный переулок, спрятавшийся черт знает где, или ставший из-за новой застройки дворовым проулком Мало-Спасо-Глинищевский, рядом с Ильинкой, черт его найдет, были ему так же хорошо знакомы, как дыры в собственном кармане. И о новых адресах Иван знал лучше других. «Вань, улица имени Первого Мая — это где?» — «Да Маросейка!» — «А Роза Люксембург?» Знал и про Розу Люксембург.

Андрону Кальпусу удалось найти надежного клиента в лице Главного управления ОГПУ, потреблявшего папки, формуляры, учетные карточки в огромных количествах. Доставлявший свой товар на восьмой подъезд Иван Михайлович был

всегда в хорошем расположении духа, поскольку от Кузнецкого моста до Лубянки рукой подать. А платили ему с веса, а не с расстояния.

А дальше счастливый случай. К принимавшему канцелярский скарб младшему инспектору отдела учета Хозяйственного управления ОГПУ Брониславу Леопольдовичу Тау совершенно между прочим обратился выходявший через восьмой подъезд сержант с характерной фамилией Резник и поинтересовался, не знает ли он, Тау, где на Стромынке Слезный тупик. Младший инспектор отдела учета только пожал плечами, а Иван Михайлович, хотя его и не спрашивали и даже в силу небольшого роста и невыразительности черт и вовсе не заметили, тут же поднял свои синие глаза на спрашивающего сержанта и с готовностью отозвался. «Знаю, — сказал Иван Михайлович, — и ехать лучше не через Коланчовку, а через Марьину Рошу». — «Кто такой?» — спросил сержант Резник у младшего инспектора Тау, давая понять, что не со всяким случайным человеком он станет разговаривать. «Разносчик из Оргстроля», — пояснил Бронислав Леопольдович Тау. «Поедешь с нами, будешь понятным и дорогу покажешь», — сказал вкусивший немалой власти сержант так, словно перед ним был пусть и маленький, но не совслужащий, а извозчик на Арбатской бирже. Резник только недавно был взят на Лубянку, ему не хотелось выглядеть новичком. Как разговаривать, учился у старших, а недостающие знания старался собирать по ходу дела.

Вот так, по ходу дела, состоялось знакомство Ивана Михайловича Михайлова и сержанта Резника. Для сержанта, переведенного в Москву из Медвежьегорска, Иван Михайлович оказался живым путеводителем по Москве и ближним пригородам.

Сначала привлекался как общественник, а дальше рабочий стаж и незапятнанная профсоюзная карточка открыли Ивану Михайловичу двери большого дома на Лубянке, двери, быть может, с самыми крепкими запорами.

Люди в ОГПУ росли быстро, но быстро и отцветали, исчезая где-нибудь в глубинке или еще дальше. Хорошие вакансии открылись после партчистки 1929 года, которую, не в пример партчистке 1927 года, многие проходили со скрипом. После нэпа партия строго следила за теми, в ком давали себя знать отрывки левого уклона, кто заболел комчванством, кто оторвался в силу хозяйственного, собственногоческого обрастания. Партия нацеливала на изгнание тех, кто обнаружил склонность ко всякого рода излишества. Иван Михайлович ничем еще обрасти не успел, не говоря про излишества, зато с его кандидатской карточкой и безупречным, хотя и коротким, послужным списком открылась хорошая перспектива для роста.

Когда наконец Ивана Михайловича, вчерашнего курьера и топтуна, вызвали в кадры и направили в распоряжение Эдуарда Романовича Киррса, Ванька, немало к тому времени уже повидавший врагов соввласти, даже и вообразить не мог, какие дела творятся на свете. Войдя в кабинет помощника начальника первого отделения Секретного отдела ОГПУ, Иван Михайлович доложил, как положено. «Разве это я просил?» — осмотрев нового сотрудника с ног до головы, сокрушенно сказал Эдуард Романович. Ванька знал, что не на все вопросы начальство ждет ответа. «Я волкодава просил, а мне что прислали? С тобой только на крыс и мышей охотиться». Лицом Иван Михайлович не дрогнул, а сердце екнуло, если завернет обратно, неизвестно, как оно обернется. Могут и погнать, у них это запросто. «Что это ты такой плюгавый? Это в какой же щели тебя нашли?» — спросил товарищ Киррс, самто под два метра и грудь под френчем, как мельничный жернов. Ум подсказал Ваньке, что надо улыбнуться, и он улыбнулся. «Не обидчивый? Это хорошо», — понимая, что другого не пришлют, сказал помнач первого отделения Секретного отдела ОГПУ. «Рожа у тебя деревенская... Ты Москву-то хоть знаешь немного?» — думая о своем, не глядя на Михайлова, проговорил помнач. «Много знаю, — уверенно, с достоинством сказал Иван Михайлович и пояснил: — Два года в наружке. До

этого полтора года курьер-разносчик от Оргстрою». Эдуард Романович только покивал головой, смиряясь с судьбой, и начал вводить нового бойца в обстановку. «От нас ушел Карелин, Аполлон Андреевич, командор Восточного ордена тамплиеров в России», — сказал и посмотрел на Ваньку, стоявшего все так же «смирно».

Эдуард Романович был уверен, что его новый сотрудник слово «тамплиер» слышит первый раз в жизни, но Ванька много чего слышал в этих кабинетах первый раз в жизни и знал, что все нужное разъяснят, если потребуется.

— Карелин был секретарем Всероссийской федерации анархистов-коммунистов. Потом перешел к анархомистикам, — продолжил Эдуард Романович, строго глядя на Ваньку.

А Ванька даже не старался запоминать услышанное и не пытался делать умное лицо. Он понял главное: раз товарищ Киррс с ним заговорил, раз вводит в обстановку, значит, дальше будет, как и раньше. Выпишут ордер. Дадут адрес. Скажут, кого брать, куда доставить. Ну, при допросе придется помочь, или протокольчик вести, или с арестованным «поработать».

Эдуарду Романовичу даже небольшое округлое личико Ваньки показалось не таким уж пустым, и глаза смотрели так по-летнему ясно. В двух словах он поведал о том, что Карелин ушел, в смысле умер, три года назад, а хвосты его, анархисты-коммунисты и анархомистики, остались...

Операцию они с Ванькой провели великолепно. Киррс удивлялся: новый помощник помощника начальника первого отделения работал, как хорошая операционная сестра, понимая, что нужно, с полуслова, а то и по взгляду, и по кивку головы. Понимал даже, когда на него орала, в то время как других сотрудников громовый голос Киррса вгонял в оцепенение. Дело вышло сравнительно небольшое, на двадцать пять душ, четверо пошли под «высшую меру». А поработать бок о бок с таким мастером, как товарищ Киррс, это такая школа... В кадрах тоже люди знают, кто у товарища Киррса продержится хоть с полгода, работать будет и будет расти.

Есть люди, которым природа из всех своих необъятных возможностей, в возмещение каких-либо талантов, дарует одно лишь самолюбие, непомерное и даже отчасти изнурительное. Любить себя более всего в мире — занятие не из простых.

Змея самолюбия, угнездившаяся на крохотной территории, в узкой груди Ивана Михайловича, хотя и будет в свое время пригрета орденом Красной Звезды, все равно жалила и жалила оперативное сердце всякий раз, когда он слышал о чужих удачах, чужих победах. Удачливый человек был в глазах Ивана Михайловича похитителем, разорителем, стяжателем кусочка его славы, его удачи и успеха.

Самолюбие и тщеславие всегда, как голодный птенец, сидят с открытым клювом. Что бы ты туда ни бросал, какими лакомыми победами ни пытался насытить это прожорливое чрево, утоление вечной жажды наступает лишь на миг, на час, на день-два, и вот уже шум праздника на чужой улице напоминает о том, что твоему празднику пришел конец, а может быть, и забвение. И вот тогда-то проголодавшаяся змея самолюбия требует не упускать случая...

Иван Михайлович свой случай нее упустил.

## 10. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ — ОТТОЧЕННЫЙ КЛИНОК

В Ловозеро Михайлов прибыл, безропотно подчиняясь дисциплине, но в душе остался, куда деться, горький осадок. По-человечески это так понятно! После успешно проведенной операции в Ленинграде, где ему досталось ликвидировать «правотроцкистскую низовку», публику многочисленную, но малоприметную, это была ссылка, хотя Кожухов в кадрах ему улыбнулся и сказал: «Езжай, семужки свежей покушаешь, отдохнешь...»

Вот Кожухову бы здесь и отдыхать. Разгар лета, только что-то оно, лето это, не разгорается, низкое небо смотрит ноябрем. Моросит мелкий частый дождик, воздух просто пропитан водой, мешающей дышать. По склонам сопок, в ложбинах белел так до июля и не сошедший снег.

Ловозеро Ивану Михайловичу не понравилось, с первого взгляда, с первой же прогулки из поселка на берег, а может быть, и сам Иван Михайлович не понравился Ловозеру.

Серая громада неба всей своей чугунной тяжестью привалилось к земле, и казалось, вот-вот обрушится вниз черным снегом. Порывистый ветер пинками гнал по озеру волну, выбегавшую далеко на берег, облизывая сходни разномастных деревянных сараюшек, где люди прятали лодки и рыбацкие снасти. Взбитая ветром белая пена над черной водой казалась снегом, слетевшим с распластанной на противоположном берегу туши Котовой сопки. Почему Котовой? По виду уж скорее «Китовой»... Тяжелый полог сумеречно тек над озером, над притихшей, истрепанной, как сиротская одежонка, землей, предвещая долгую темную непогоду. Ветер умудрялся быть колючим даже без пыли и снега, колот одним холодом. Лесок, тянувшийся между поселком и озером, был похож на голову драчуна, на которой после хорошей трепки среди изрядных проплешин местами еще уцелела небогатая поросль. Сбившиеся в небольшие рощицы низкорослые тощие сосенки крепко вцепились в кремнистую землю, держались дружно, стойко, а разбежавшиеся по проплешинам березки и рябинки под ударами ветрагнулись в пояс, словно их за неведомую вину угощали затрещинами. Мелкий кустарник и вереск дрожали под ветром, льнули к земле, казалось, что землю знобило. Все живое попряталось кто куда, а ветер кидался из стороны в сторону, рыскал, вроде как искал кого-то, на ком можно было сорвать свою злобу и показать, кто здесь хозяин. Ворвись такой ветер в город, то-то было бы пыли и грохоту, а здесь все, что можно было, уже сдуло и унесло, земля лежала вылизанная, чистая и сырая.

А всего через три четверти часа выглянуло солнце, тучи унеслись, серый пепельный полог ожил, наливаясь робкими красками жизни.

Спрятавшегося в теплой комнатенке при райисполкоме Ивана Михайловича прояснившееся небо на улицу не выманило. В этом временном жилье предстояло пожить, пока протрезвевший Орлов сдаст дела. «Работничек, — срывал на нерадивом предшественнике злость Иван Михайлович, — сейфа порядочного завести не сумел».

Глядя в немывтое окно с клочьями старой ваты вокруг рамы, он размышлял: «Какая уж здесь работа? Да и начальство далеко... А может, и вправду дали отдохнуть... С чего Орлов-то закрутился? От безделья да от скуки... Да, в Ленинграде ему скучать бы не дали... А здесь аж опух от пьянки...»

Отдых после тяжелой работы это в какой-то мере, если задуматься, отвечало давней европейской традиции, соблюдавшейся людьми известной специальности.

Во времена просвещенного Средневековья исполнители наказаний, ну, те, что рубили на площадях и других видных местах разные части тела осужденных, преимущественно головы, давали отдохнуть, нет, не себе, конечно, работой дорожили, желающих выхватить верное дело из рук всегда сколько угодно, давали отдохнуть своему инструменту, посредством которого они приводили приговор в исполнение.

Инструмент, насытившийся кровью до пределов, известных только большим мастерам, отправлялся на покой.

После тайного сбора в глухую осеннюю ночь, непременно в непогоду, для затруднения наружного наблюдения, мастера шли в какое-нибудь потаенное место в дремучем лесу и закапывали поглубже в землю, подальше от людских глаз, а главным образом, от проворных людских рук опившийся кровью меч или топор, все равно. В этом ритуале был ясный смысл. Опившийся и охмелевший от человеческой крови инструмент уже не может быть орудием справедливости. Как это верно! Вот они и закапывали, прятали, хоронили свои секиры. Прятали, потому что разного рода душегубы мечтали заполучить такой инструмент, гарантировавший успех в любом кровавом деле. За таким инструментом охотились, мастеров под осень выслеживали.

В этой связи, конечно, тут же приходит на память судьба таких выдающихся мастеров своего дела, как товарища Агранова, члена коллегии ОГПУ, организатора знаменитых процессов двадцатых–тридцатых годов, человека, тяготевшего к творческой интеллигенции, интеллигенцией этой ценимого, а потому непременно члена всевозможных писательских компаний. А в августе 1938 года товарищ Агранов, обвиненный в контрреволюционной деятельности, был отправлен на покой, на вечный покой. Ушли на тот же покой и такие беспощадные клинки, как товарищ Стромин, начальник Саратовского УНКВД, товарищ Жупахин, начальник УНКВД Вологодской области, и некоторые другие видные ученики товарища Фигатнера.

Да что и говорить, если самого товарища Ягоду, и самого товарища Ежова, и даже товарища Берия, возглавлявших Наркомвнудел, тем же манером безвременно отправили туда же... на покой...

Только перед войной за пять лет сменилось трое полководцев незримой армии!

Конечно, Иван Михайлович Михайлов не идет ни в какое сравнение ни с Жупахиным, ни с Фигатнером. С Ежовым Николаем Ивановичем Иван Михайлович сравним только что небольшим росточком и некоторой плюгавостью, а поэтому придет время, и получит он всего семь лет отдыха в лагере общего режима, но будет это только еще в 1940 году.

В каждом деле есть свои традиции, и соблюдение их — это признак культуры, основы цивилизации.

Младший же лейтенант госбезопасности Михайлов, Иван Михайлович, начальник Ловозерского РО НКВД, носил шинель, но без знаков различия, чем немного напоминал скромный наряд вождя.

Да, именно Ивану Михайловичу Михайлову, человеку в простой шинели, с подстежкой на гагачьем пуху, принадлежит заслуга раскрытия Саамского заговора, угрожавшего стране отторжением, потерей территории от Кольского полуострова до Урала включительно.

А может ли быть преступление большим, чем расхищение отечества, собранного предками по крохам и по частицам, скрепленным слезами, потом и кровью. Большого преступления быть не может, но статья 58-2 предусматривала не только крайнюю меру наказания. За захват власти «в центре или на местах», «в частности, с целью насильственно отторгнуть от Союза ССР или отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории» статья 58-2 предусматривала «объявление

врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда». Таким образом, юридически подкованные заговорщики могли рассчитывать на изгнание «из пределов Союза ССР навсегда», пусть и налегке, то есть без имущества. Но среди заговорщиков юридически подкованных не оказалось.

## 11. ОПЕРЕЖАЯ ЗАМЫСЛЫ ВРАГА

Маму увезли на глазах Светозара, это было 20 октября 1937 года.

Светозар возвращался из школы, подходил к дому, когда увидел у крыльца эмку. Это было огромное везение, к отцу иногда приезжали на машине, и тогда можно было попроситься посидеть в машине, на шоколадного цвета кожаных сиденьях, прикоснуться к кругленьким гашеткам под приборами, напоминавшими часы, но служившими вовсе не часами. Каждый приезд к отцу машины был маленький праздник и большое везение. Светозар ускорил шаг и в это время увидел, как из дома вышел военный в портуpee и с кобурой, огляделся с крыльца и что-то сказал в открытую дверь. Из дома вышла мама в беличьей шубке с узлом, завернутым в зимний платок, за ней вышли еще двое военных, тоже с пистолетами на поясе поверх шинели. «Светик!..» — оглянувшись на военных, позвала мама. Сын стоял, не двигаясь с места, пытаюсь понять, куда собралась ехать мама, почему нет папы? Первый военный распахнул заднюю дверку эмки, второй слегка подтолкнул маму в спину. Мама, не почувствовав тычка, шагнула в сторону Светозара, и он понял, что она хочет что-то сказать, объяснить, и тоже двинулся к ней навстречу на непослушных ногах. Но военный почти впахнул маму в эмку. Не глядя на мальчика, военные сели в машину, жестяно, как несмазанные засовы, лягнули захлопнувшиеся дверки. Завыл стартер, но мотор не завелся. Светик подошел к машине, но неблизко, и все равно видел маму, сидевшую между двумя военными. Она что-то им говорила, оборачивая лицо то к одному, то к другому, но они смотрели прямо перед собой и ничего ей не отвечали, словно не слышали. Стартер со скрежетом завывал и в бессилии замолкал. У шофера лопнуло терпение. Он вышел из машины, в короткой куртке, форменной фуражке и белых фетровых бурках, с шоколадным кожаным низом, в таких ходили в Мурманске только большие начальники. Шофер строго взглянул на мальчика, словно тот был помехой, достал из-под сиденья заводную ручку, вставил ее в дырочку в бампере, просунул под радиатор, ухватился двумя руками и крутанул так, что машина закачалась, словно налетела на ухабы. Крутанул раз, два, три, прислушался и, явно обозлившись, крутанул без перерыва раз семь. Неожиданно мотор взревел, да так, что Светик испугался, не сорвется ли машина с места, тогда она придавит шофера. Но тот не спеша вынул согнутую в два колена рукоятку, сдвинул на затылок фуражку, отер пот, бросил недобрый взгляд на Светозара, будто он виноват в том, что машина сразу не завелась, и сел за руль. Глухо чавкнула дверка.

Только когда машина уехала, Светик заплакал и пошел домой. На улице, не смотря на дневное время, не было ни души.

На круглом обеденном столе в столовой Светозар заметил развернутую тетрадь, свою тетрадь по истории, на чистой странице карандашом было написано: «Светик, я скоро вернусь. Суп на плите. Будь умницей. Целую. Мама».

От этих привычных слов, «скоро вернусь», страх почти исчез.

В доме были три комнаты и кухня. Одна из двух маленьких комнат именовалась «светелка», по имени обитавшего там Светозара. Вторая была кабинетом и спальней, хотя Алексей Кириллович предпочитал заниматься, раскладывая старые

журналы, рукописи и книги на просторном овальном обеденном столе в большой комнате, по старой традиции именовавшейся столовой.

Светозар вошел в дом. Не раздеваясь, прошел через прихожую в столовую, заглянул в родительскую спальню и к себе, оставляя на полу горстки не спешившего таять снега.

В доме было все перевернуто вверх дном, в родительской спальне на полу оказались пустые ящики из письменного стола отца, хранившие аккуратно рассортированную переписку, рядом вываленные простыни и наволочки, из платяного шкафа прямо на пол были брошены мамины кофточки, лифчики, чулки, ночные рубашки... Даже матрац с кровати был сдернут, словно там происходила какая-то борьба. В столовой все сиденья стульев и кресла были проткнуты насквозь вместе с мягкой обивкой. Буфет стоял нараспашку, а часть столовой посуды неровными стопками возвышалась на полу.

Светозар заплакал. Он ходил по дому в уличной куртке и ушанке, будто это был уже не их, не его дом, а то ли проходной двор, то ли кусок улицы. А когда вспомнил, что надо раздеться, тут же почувствовал озноб, в доме было студено, хотя все форточки были закрыты. Открытой нараспашку осталась входная дверь, о которой паренек, ошеломленный произошедшим на его глазах, просто забыл. У крыльца стояли две уличные собаки, с недоумением склонив чуть набок головы, они смотрели на открытую дверь, не решаясь войти без особого приглашения. Увидев появившегося в дверях Светозара, обе завиляли пушистыми хвостами, выказывая готовность к дружескому общению. Впрочем, та, что была побольше, рыжая с обвислыми ушами, вдруг села на снег и начала яростно вычесывать блох, виновато отвернув острую мордочку в сторону. Вторая подвинулась к крыльцу, надеясь на что-то хорошее.

Светозар закрыл дверь.

Нужно было затопить печь. По заведенному порядку дрова из сарая или из поленицы во дворе приносились в дом загодя и ждали вечерней топки, превращавшейся, если вся семья оказывалась в сборе, почти в священнодействие.

После ареста и исчезновения Серафимы Прокофьевны, а 10 декабря отказались принять для нее продовольственную передачу и деньги, Алексей Кириллович постоянно ждал, что могут прийти и за ним.

Отец, всегда куда-то спешащий, делающий разом несколько дел, возвращающийся из своих бесконечных поездок переполненным всевозможными историями, вдруг стал похож на человека, то ли что-то позабывшего и пытающегося вспомнить, то ли на человека, который что-то ищет.

С отцом было интересно все: пилить дрова, растапливать печку, клеить бумажные цепи на новогоднюю елку, даже мыть посуду.

Важное дело отец начинал с поисков «чрезвычайного и полномочного представителя директора Мурманского краевого музея». С озабоченным лицом он проходил мимо Светика и на ходу спрашивал: «Вы не видели чрезвычайного и полномочного представителя?» или «Вы не могли бы сказать, чрезвычайный и полномочный представитель уже прибыл?» У Светозара от этих вопросов замирало сердце, но он старался удержать себя в роли и отвечал с достоинством: «Чрезвычайный и полномочный перед вами». После этого следовало приглашение, самое малое, подмести пол, а то и навести порядок на чердаке, отправиться в сарай колоть дрова, носить наколотое для печки и плиты, копать огород. С отцом все было интересно и неожиданно, и беда не в беду, и промах не в обиду. Забегается с ребятами во дворе, забудет про дрова, отец никогда не скажет, как мама: «Почему до сих пор дров не принес? Сколько раз тебе говорить?» или что-нибудь в этом роде.

Отец никогда не произносил наставительных выговоров. Увидев отсутствие дров перед печкой, отец грозно возвещал: «И за нерадение истопник Прошка будет подвергнут строгому взысканию!» И «истопник Прошка», рот до ушей, летит в сарай за дровами.

Увидев в тетради сына двойку, Алексей Кириллович, покачав головой, возглашал: «Убоясь бездны премудрости, вспять обратился».

За разбитую тарелку Серафима Прокофьевна ругала, посуды в доме было небогато, отец же вставал на защиту: «Необдуманность извиняема порывами гения. Пушкин».

Если после школьной драки Светик приходил домой в слезах и с разбитым носом, мама обрушивала на него всю свою медицинскую премудрость вперемешку с охами и ахами. Отец же, когда случалось быть свидетелем мальчишеской скорби, только посмотрит и важно скажет: «А бывают у них меж себя брани до крови и лая смрадная!» — и дворовая ребячья «стычка» уже высвечивается былинным светом, становится событием прямо-таки историческим. И еще не утерев как следует слезы, Светозар начинал улыбаться. И похвалить отец мог так, как никто на свете: «По ревностным вашим стараниям пребываем к вам от нашей милости благосклонны».

С отцом можно было говорить о чем угодно. «А Солнце большое?» — «Как сказать? Пять расстояний до Луны — это его диаметр. Миллион триста тысяч километров примерно». — «А за что Павла Первого убили?» — «Дело, брат, темное. То ли англичанам не угодил, то ли свои рабовладельцы испугались за свое добро. Мог ведь под настроение и крепостное право отменить».

Как-то, сидя у печки, Светозар спросил отца о вере. Тот чуть удивленно взглянул на сына, стараясь угадать, чем этот вопрос рожден. Специально выждал паузу, давая понять, что вопрос не из простых, потом взял в руку кочергу и обколотил догорающие поленья. И когда Светозару показалось, что отец или не расслышал, или просто не хочет отвечать на его вопрос, услышал:

— Вообще-то лучше всего на этот вопрос мог бы ответить человек верующий. Я, как говорится, этой благодати лишен. Это все равно что спросить человека, никогда не любившего никого кроме себя, к примеру, что такое любовь. Вера, вера, вера... Вот что я тебе расскажу. После смерти царя Алексея Михайловича и недолгого правления его сына Федора Алексеевича на русском престоле оказались двое молодых людей, для них даже трон двойной сделали. Один сын был от первой жены царя, шестнадцатилетний Иван, и сын от второй жены, Петр, вовсе десятилетний. Иван был существом болезненным, к государственной деятельности непригодным, а Петр слишком мал. А за каждым стоят семьи: за Иваном — родня его матери, Милославские, Хованские, старшая дочь Алексея Михайловича — царевна Софья. За Петром — клан его матери Натальи, Нарышкины, ее родня, Матвеевы, тоже сильная партия. Софья и ее сторонники подговорили стрельцов на бунт. Те ворвались в кремлевский дворец бить Нарышкиных и их сторонников. Расправа на месте, как говорится, без суда и следствия. В горячке побоища приняли стольника Федора Салтыкова за Афанасия Нарышкина, брата царицы Натальи, и, недолго думая, убили Салтыкова. Сначала убили, потом поняли, что убили не того. Что делать? Отнесли тело к его отцу, известному и всеми почитаемому боярину Петру Салтыкову, стали извиняться, оправдываться, что-то лепетали, лукавый попутал... А старик их оборвал, не стал слушать, только произнес: «Божья воля!» — и велел угостить убийц, раз уж в дом пришли, вином и пивом. Ты спрашиваешь, что такое вера, вот она. Верит боярин, что все судьбы в руках Божьих, а почему одна судьба так сложилась, а другая иначе, не человеческого ума дело.

— Я бы так не смог, — сказал Светозар.

— Что не смог? — спросил отец.

— Убитого сына принесли, а он... вино, пиво... угощение убийцам... — Светозар даже непроизвольно замотал головой, отгоняя живо представившуюся ему картину.

— Ты спрашиваешь, что такое вера, вот это она и есть.

— А эти, которые убивали, они какой веры были? — спросил Светозар

— Той же, крещеные. Православные. Как говорится, единоверцы.

Теперь Светозар топил печь, приходя из школы, а к приходу отца со службы растапливал еще и плиту, вечером отец стряпал, еду готовили на три-четыре дня, благо на холоде все хорошо сохранялось.

С тех пор как увезли маму, отец стал редко смотреться в зеркало, подолгу не стриг усы и бородку, отчего они распушились и утратили привычную строгую форму. Но ощущение беды, пришедшей в дом надолго, Светик почувствовал, когда перед Новым годом, заранее чувствуя недоброе, робко спросил отца: «Чрезвычайный и полномочный интересуется: а цепи клеить будем?» — «Не знаю, милый, не знаю, — как-то торопливо проговорил отец, но, увидев глаза сына, уже обычным деловым тоном сказал: — Я думаю, ограничимся прошлогодними».

О «чрезвычайном и полномочном» больше не вспоминали ни отец, ни сын. Игры кончились.

## 12. РАЙОННЫЕ БУДНИ

Быть начальником Ловозерского отдела НКВД, конечно, почетно, но не в тридцать четыре года, не при партстаже в восемь лет, не при безупречном происхождении из села Волоськово Новгородской области. Образование пусть и небольшое, но не вызывающее никаких задних мыслей. Не такое, конечно, хорошее, как у мурманского капитана госбезопасности Гиндина, неполное начальное. Михайлова в Москве понатаскали, в Ленинграде пообтерся, и теперь у него почти среднее, но зато тоже незаконченное.

Места в ловозерской тундре полно, а где развернуться, если всего-то в районе, включая райцентр, по всем лесхозам, пастбищам и стойбищам обитает одна тысяча шестьсот семьдесят пять человек. В твоём районе и на твоей ответственности есть три погоста, куда летом вовсе ни на чем не доедешь, только зимой, на оленях. Да и народ-то чумовой, на месте им не сидится. Добираться до какого-нибудь Тутозерского погоста, вымерзший и трижды вывалившийся из болоки, санного кокона, обтянутого парусиной, жди прибытия на Тутозерский погост, как в землю обетованную, прибыл, а там, в тупах, этаких блиндажах повышенной комфортности, только старики да дети. «Куда все ушли?!» — «Оленья знает». Куда двинулось оленья стадо, туда за ними и пошли не понимающие радости оседлой жизни кочевники. Олень всегда идет против ветра, но это слишком неопределенный адрес для уполномоченного Ловозерского райотдела НКВД.

Иван Михайлович вел работу очень большую, но совершенно незаметную не то что из Ленинграда, но даже из Мурманска.

После единственной поездки, закончившейся довольно скудными пушными дарами туземцев, едва не отмороженными ногами и неделю шелушившейся обветренной мордой, младший лейтенант Михайлов зарекся соваться в тундру без крайней надобности. Кто оценит его путь на Тутозерский погост и обратно? Нансен? Амундсен? Пири? Генерал Умберто Нобиле? Но они в НКВД не служили.

Нелегко тянуть лямку государственной безопасности в тундре, даже в райцентре.

Разве вытянет тебя из этого гибельного Ловозера гражданин Колчик? Михайлов, чтоб выбраться из этой дыры, и с Колчаком бы управился. А что этот Колчик? Тоже романтик, но куда ему до Колчака. Накануне Международного женского дня проник в женское общежитие и учинил там хулиганские действия. Уж как допытывался у свидетелей и потерпевших настойчивый Иван Михайлович, не проносил ли Колчик каких-либо слов политической направленности, не выражал ли недовольства политикой партии и советского правительства, не ставил ли под сомнение необходимость празднования Международного женского дня? Все это могло бы придать событию хороший политический оттенок, но никто ничего обнадеживающего так и не сообщил.

Работают люди, удостоенные доверием Ивана Михайловича. Работает и сам Иван Михайлович, все видит, все знает. День работает и вечером работает, пишет. На вечер оставляет самую неприятную, самую трудную, истомляющую душу работу, писательскую.

«12 ноября в поселке Пижма гр-н Егупов, освободившийся из мест заключения, путем взлома замка проник в канцелярию лесопункта. Путем взлома кассы пытался похитить деньги, но был задержан за этим занятием секретарем канцелярии Матрушевой Елены. С применением угроз и физической силы Егупов бежал.

15 ноября гр-н Егупов совершил кражу носильных вещей на лесобирже Запо-лье. Часть вещей разыскана у граждан, купивших краденое.

16 ноября Егупов в столовой поселка Ловозеро похитил у военнослужащего Кондрашова шинель.

17 ноября Егупов совершил карманную кражу денег у гр-на Чернышева в общежитии леспромхоза, где и был задержан окончательно и заключен под стражу».

Есть и самоубийства.

«9 декабря с. г. в 12 часов дня рабочий электромонтер Перепелицын Евг. Ив., 1924 года рождения, во время производства работ предпринял попытку покончить жизнь самоубийством посредством выстрела в себя из самодельного оружия пистолета. В результате чего ранил себя в грудь, в правую сторону. Перепелицын доставлен в больницу. Факт изготовления самодельного оружия расследуется».

«14 декабря поступило сообщение, что по ул. Хибинской, д. 6 гр-н Сляренко покончил жизнь самоубийством путем повешения. На место выехал оперработник т. Леснов, который установил, что никакого самоповешения не было. Сообщение было ложным».

Были и настоящие трупы.

«Председателем Сеяврского сельсовета 18 декабря сообщено, что в Сеяврской запани был извлечен из воды труп мужского пола, который оказался по фамилии Зыков Николай. Причины утопления Зыкова пока не установлены».

«25 декабря с. г. на ул. Советской, д. 15 был обнаружен мертвым Осипов Николай Мартынович, 1885 г. рождения. Причины смерти не установлены, но есть надежда полагать, что смерть постигла от алкоголя, к тому же Осипов был больной».

Иногда вызывал сам первый секретарь товарищ Елисеев, Георгий Викторович, и напоминал слова вождя о том, что органы есть вооруженный отряд партии, и в своем кабинете давал задание. Но какие задания? Да в основном по анонимкам.

Хорошая, перспективная была анонимка на руководящих и ответственных работников первого лаготделения ИТЛ НКВД.

У руководящих и ответственных работников первого лаготделения стало за правило собираться, как сказано в доверительном сообщении, «за чашкой чая», эти «сборы сопровождалась выпивкой и отсутствием критического подхода к оценке своей работы».

Заявитель знал, о чем писал, сам, надо понимать, сживал (сживала?) на сборах «за чашкой чая», всех знал (знала), все слышал (слышала).

Особенно возмущало заявителя то, что «эта группа, Драницын, Лыков, Тутаев и Гринберг, не ограничивала себя в вопросах снабжения продуктами питания, что переросло в необходимость доставать ряд продуктов и вино из различных источников различными путями».

И без Елисеева у Ивана Михайловича Михайлова лежал пяток-другой подписанных и неподписанных сообщений о поездках самих ответственных и руководящих работников первого лаготделения, а также доверенных лиц по их поручению за водкой в Апатиты и на станцию Оленья, на расстояние шестидесяти и семидесяти километров от райцентра Ловозеро.

Заявления подобного рода вместе с документами особой секретности лежали у Ивана Михайловича в самодельном железном шкафу, сваренном из двухмиллиметрового котлового железа хлопотами его предшественника. Шкаф закрывался на висячий амбарный замок и был обустроен пятью деревянными самодельными полками, которые Иван Михайлович мечтал заменить в противопожарных целях металлическими, да все руки не доходили. Всякий раз, приезжая в Мурманск, начальник Ловозерского РО НКВД ставил вопрос о сейфе, пытался убедить руководство, что сейф нужен ему как воздух, начальство отделялось обещаниями, и вопрос с сейфом продолжал висеть в воздухе уже больше полугода.

Задания первого секретаря райкома по анонимкам Иван Михайлович решал, слава Богу, с легкостью.

Узнать заявительницу в узком окружении руководящих и ответственных работников первого лаготделения не так и трудно, обо всех, кто бывал на «чашке чая», Михайлов знал от своего осведомителя, заключенного Мельникова, исполняющего роль домработника у начальника первого лаготделения Драницына.

Уже на следующий день несчастная Монова, бухгалтер лаготделения, насмерть перепуганная и власть обрыдавшаяся, прямо в кабинетике младшего лейтенанта Михайлова писала на имя первого секретаря товарища Елисеева покаянное заявление о том, что послала анонимку, пользуясь непроверенными данными, под влиянием сильного нервного расстройства и оклеветала ответственных и руководящих работников. В содеянном раскаивается, обвинения в пьянстве и бытовом разложении снимает: «В компании Драницына, Лыкова, Тутаева и Гринберга я никогда не была, в не однократных гулянках не участвовала, и как они пьянствуют, я не знаю. Но знаю партийцев, которые поют в их сторону».

Как и полагается, положив на стол первому секретарю РК ВКП(б) покаянное заявление разоблаченной анонимщицы, младший лейтенант госбезопасности выслушал сдержанную похвалу за скорую и четкую работу.

— Спасибо, Иван Михайлович, все четко. Я так и думал, бабьи сплетни да еще ревность, что ее не позвали. С Драницыным я поговорю. У него рабсила, а мне в этом году к осени дорогу на Пулозеро до ума доводить. Электростанцию пускать. Не пушу, головы не сносить. А тут еще грязными склоками приходится заниматься... Голова трещит. Церковь надо закрывать, в церкви клуб устроим, подписи никак не могут собрать...

— Да уж, — поддакнул младший лейтенант первому секретарю, — крепко здесь поп со своим подпевалой Поликарпом Рочевым ладаном головы гражданам обкурили.

— Вроде удается народ к клубу склонить, хотя и радио слушать, и кино смотреть, так пристают: а как же крестить, а как же отпевать?

— А как на Воронье, — подсказал офицер госбезопасности. — Там договорились, что к ним будут возить попа из лагеря, раз без крещения и отпевания еще жить не

привыкли. Спросите у того же Драницына, у него в лагере этих попов на любой вкус и любую веру.

— Пожалуй... Мысль хорошая, — раздумчиво сказал товарищ Елисеев. — Хитер у нас народ на выдумки.

Иван Михайлович вернулся к себе и, несмотря на поздний час, тут же написал в Москву, в ГУЛАГ, прямо на имя Наседкина, о сигналах, полученных на Драницына и его «группу». Заодно сообщалось и о том, что секретарь райкома Елисеев о событиях на первом лаготделении информирован, но по партийной линии мер также не принял. В Мурманск писать Михайлов не стал, опасаясь, что у Елисеева, пришедшего из окружкома на райком, там должна быть поддержка.

Иван Михайлович, несколько раз дававший понять Драницыну, дескать, тоже любит «чайку попить», но приглашения не получивший, не забыл и об упущениях по службе: «О служебных упущениях начальника 1-го Лаготделения могу иллюстрировать следующее. За т. Драницыным водятся административные перегибы, грубость по отношению к вольнонаемным сотрудникам, недопускаемые для советского руководителя методы рукоприкладства и запугивание заключенных, а также произвольное водворение в ШИЗО, что вызывает среди з-к уныние и страх и приводит к срыву плановых работ. Имеются случаи интимного сближения заключенных с работниками охраны и obsługi».

Иван Михайлович — работник опытный, а стало быть, до поры до времени лежит у него и в памяти, и в самодельном железном шкафу все необходимое, чтобы вскрыть лицо любого.

Вот так работает орденосец Михайлов!

Уберут Драницына, может быть, следующий начальник лаготделения будет поумней и догадается, кто хозяин в Ловозере. А хозяин он, человек в скромной шинели, с подстежкой из невесомого гагачьего пуха из птичьего подбрюшья. Стеганая подкладка — подарок товарища по оружию из Кандалакши, для тепла и придания некоторой солидности невзрачной фигуре несгибаемого младшего лейтенанта.

— Иван Михайлович, что это вы в такой мороз да в шинельке?

— Работа у меня жаркая, она и греет.

От пакого ответа и строгого взгляда Ивана Михайловича у спрашивающего, будь он хоть в тулупе, холодок пробегал по спине.

А еще Ивана Михайловича и в зной и в стужу согревала надежда, что придет его час, выпадет в конце-то концов и ему карта.

И выпала. В гостинице «Арктика», в Мурманске, где был открыт саамский заговор.

### 13. ЖАРКИЙ ВЕЧЕР В «АРКТИКЕ»

14 января в Ловозере праздник. Наконец-то после долгой полярной ночи из-за горизонта показалось солнце. Уже с Нового года край неба светлел, словно загадочная улыбка, обещающая долгожданный подарок, и вот будто из любопытства: «Как вы тут без меня зимовали, в холоде да темноте?» — выглянуло солнце! Плянуло и снова спряталось, деликатно предупредив, что завтра появится снова и разглядит уже все как следует.

25 января 1938 года младший лейтенант госбезопасности Михайлов приехал из своего Ловозера в Мурманск и пригласил начальника четвертого отдела Мурманского окружного отдела НКВД сержанта Шитикова, Вадима Сергеевича, поужинать в гостинице «Арктика».

За младшим лейтенантом госбезопасности, оперативным уполномоченным по Ловозерскому району, в гостинице был закреплен постоянный номер и для работы, и для важных встреч во время наездов в Мурманск, ну и для проживания тоже.

Ужин младшего лейтенанта Михайлова и сержанта Шитикова оказался историческим. Именно в ходе этой встречи родился по своему знаменитый, но, к сожалению, у многих как-то выпавший из памяти «саамский заговор».

О чем говорят чекисты на досуге, за бутылочкой коньяка? А разговор простой. Неотпуск лошадей, к примеру. Это жаловался Михайлов. Не дают запряжки, чтобы конвойные могли на санях ехать. Дорога дрянь, рытвины, камни. Идет конвойный и не знает, то ли ему под ноги смотреть, особо в распутицу, то ли за конвоируемыми. А сержант Шитиков рассказал, как взяли Никифора Базлукова, знаменитого картежного шулера. Явился в Мурманск на гастроли. Представляется везде — маэстро Кухтинский. Шитиков его тряс насчет валюты. А потом попросил карточный фокус показать. Не смог! Руки тряслись. Раз пять принимался и не смог. Посмеялись.

Шитиков излучал оптимизм и веселость, даже о недоразумениях и неурядицах говорил с усмешкой, с улыбочкой человека, привычного к разного рода казусам.

Может, еще и поэтому так по душе пришелся Михайлову Вадик Шитиков, человек веселого сложения души, рожденный для приятностей жизни, не знающий ни уныния, ни душевных терзаний.

По всему своему виду и манерам был Шитиков человеком открытым и простым. И хотя Михайлов был на два года старше и выше на одно звание, он тоже держался просто, по-товарищески, немного завидуя улыбчивому парню. Такие нравятся начальству. Вот он и в Мурманске, и начальник отдела, по тундре не бегаёт...

Любят поговорить наши люди о работе, хоть и на досуге, повздыхать о трудностях, побранить начальство, умеющее приказывать, а не понимающее, каково эти приказы исполнять.

— О чем там, наверху, думают, — тыкая вилкой в грибочки, вздохнул Михайлов. — Слышал небось, по уголовникам дополнительных лимитов не будет...

— Тебе же меньше возни, — не понял печали Шитиков.

— Да я только на уголовке и выезжаю. Где мне политических набрать? За каждого еще приходится с Елисеевым лаяться. Район маленький, всего полторы тысячи душ, а я, видишь ли, грамотных выбиваю, работать ему не с кем.

— У меня не полторы тысячи, а такие задачи ставят, хоть свою голову для выполнения плана неси. Моли бога, что у тебя в Ловозере железной дороги нет. Слышал, сейчас на железной дороге прорыв за прорывом, помани мое слово, будет директива по чистке транспорта от антисовэлемента. А циркуляр по «росовцам»? Найди им в Мурманске «офицерский союз» да еще выяви связи с монархическим центром в Ленинграде. Легко им: «немедленно развернуть операцию по исчерпывающему разгрому офицерско-монархических кадров...» Да мы их уже третий раз исчерпывающе громим... В конце третьего квартала, прошлый год, команда: представить оперативные листы для дачи санкций по польагентуре! А конец же года, надо проводить аттестование всего агентурного аппарата... Голова же пухнет.

— Так это же по отделам? — знал Михайлов и канцелярщину.

— Ну! А мне со всех отделов собрать и готовить общую справку, одна справка для третьего отдела, другая для четвертого и третья для одиннадцатого... Через неделю: представить дислокацию и план разработки связей польагентуры. Где я им в этой тундре польскую агентуру возьму? Где? Рожу? Ну, был у меня на учете «wartovый», с «державной варты», у Скоропадского служил... Уж как я его берег! Я ж его не отдал ни когда по эсерам ударили, ни когда после «кулацкой операции» нас на «другие элементы» ориентировали... Знал, придет его час. Пришел. Посылаю наряд,

возвращаются с пустыми руками, три недели как умер, перитонит-перихондрит, в общем, похоронили. Ушел. Вот такие промахи. Слава Богу, нашлась какая-то в горбольнице, у меня камень с души, можно хоть что-то доложить.

А дальше начальник четвертого отдела в ходе ужина как бы между прочим сообщил о только что закончившемся деле «Алдымовой–Сутоцкой».

Жена директора Мурманского краеведческого музея, Глицинская по первому мужу, а по второму мужу Алдымова, Серафима Прокофьевна, акушерка из горбольницы, арестованная 20 октября 1937 года, вины своей не признавала, как с ней ни бились. Пришлось устроить ей очную ставку с Сутоцкой, Вандой Стефановной, медсестрой Окружной мурманской больницы. На очной ставке Алдымова была уличена агентом польской разведки Сутоцкой в том, что по ее заданию занималась шпионской деятельностью. Правда, виделись Алдымова с Сутоцкой только один раз в 1935 году. За разоблачение Алдымовой Сутоцкой была обещана жизнь. Однако обе пошли по 58-6 и 58-11 как агенты польской разведки, обе получили «высшую меру», и в середине декабря с польской агентурой покончили.

— Польская шпионка, смотри-ка ты... — раздумчиво сказал Михайлов и подумал, что третью бутылку коньяка заказывать не стоит.

— Так можно сказать, еще повезло, — вздохнул Шитиков.

В том-то и дело, не подвернись эта несчастная Сутоцкая, как докладывать об исполнении оперативного приказа № 00485? А ликвидировать нужно было не просто шпионов и диверсантов, а диверсионно-шпионские группы, для чего к Сутоцкой нужно было непременно кого-то еще подключить. Договорились с этой полячкой, что она на свою знакомую Глицинскую-Алдымову покажет. Это уже может и за группу сойти. Так пока эту полячку отыскивали, а она в отпуске была, только в конце сентября в Мурманск вернулась, пока арестовали, пока с ней работали, все сроки уже на исходе были. Так что к 20 ноября «операция» по разгрому польского диверсионно-шпионского подполья закончена не была, закончили только 8 декабря, но, по крайней мере, можно было докладывать о том, что работа ведется.

Впрочем, и это не спасло от горького и заслуженного упрека. Если взглянуть на итоговую сводку работы по «польагентуре», то Мурманская область оказалась на последнем месте. На первом — Ленинградская!

А следом за приказом № 00485 приходит приказ № 00486. И снова — в ружье! «С получением настоящего приказа приступить к репрессированию жен изменников родины...»

Вот и работай! Еще с правотроцкистами не покончено, с «росовцами» зашиваются, тут тебе и польское подполье, и жены, и дети изменников родины, а после операции по полякам директива по немцам, по корейцам... С немцами еще куда ни шло, а где им в Мурманске корейца найдешь? Удалось немножко китайцев наскрести, оставшихся после строительства «мурманки», сошли за корейцев. А следом директива по перебежчикам...

— Я тебе какую вещь хочу сказать, — перевел дыхание и перешел к главной мысли сержант Шитиков. — Если Глицинская — польская шпионка, неужели она не вращала своим мужем, а? Полячки, они знаешь какие? О-го-го! А что Алдымов? Интеллигенция. У них баба всегда на первом месте. — Начальник четвертого отдела уже сам верил и тому, что жена Алдымова полячка, а уж что шпионка, так и к гадалке не ходи!

— Алдымов, Алдымов?.. Директор краеведческого? — спросил Иван Михайлович. — Третью берем?

— Уверен, что он и к тебе в Ловозеро наведывался... Третью не берем. Еще по сто грамм, и точка... Ну, ладно, по сто пятьдесят... Очень у него должность удобная, подвижная должность, он и в Мурманске-то почти не живет, все больше набегам...

О том, что Алдымов не живет постоянно в своем доме, сержант госбезопасности Шитиков знал прекрасно.

Да, испытывая серьезные жилищные неудобства, сержант Шитиков обратил свой взгляд, ищущий приюта и тепла, на дом номер четыре по улице Красной, в поселке Колонистов, через который ходил на службу и со службы. Место хорошее, высокое, весь город как на ладони. И от Управления НКВД недалеко. Дом небольшой, по жилконторским книгам — шестьдесят семь квадратных метров, но добротный, личная собственность Алдымовых. Построен всего-то девять лет назад на кредит, полученный в Потребсоюзе. Три года как кредит выплачен полностью. Живут всего трое... Теперь вот и вовсе двое...

В соответствии с директивой НКВД СССР у осужденных по ряду статей, в том числе и 58-9, 58-10, 58-11 и т. д., конфискуется имущество, лично принадлежавшее осужденному. А полдома как конфискуешь? Надо этот вопрос как-то дожимать.

— Ты приглядишься к этому Алдымову, у него, как у нас говорят, повышенный интерес к саамам.

— Если на музее сидит, небось по должности интересуется, — бесстрастно произнес Михайлов и для верности разлил принесенный в графинчике коньяк по рюмкам. Он чутким своим нутром понимал, что Шитиков чего-то не договаривает, но проявлять любопытство не считал нужным, сам скажет, раз ему что-то надо.

— Интересное пришло из музея, очень интересное письмо, правда, без подписи. Оказывается, этот Алдымов собирает так называемую историческую коллекцию. Что за коллекция? Материалы по эсеровским организациям, по меньшевистским, по царской охранке, по английской интервенции... Это ж наш материал! Ничего, да? А зачем? Да выживай оттуда всех недовольных соввластью, и под ружье! А с виду — коллекция...

— Так, может, в музее положено...

— Вот почему, Ваня, я сержант, начальник отдела, а ты лейтенант и пасешь своих лопарей, — ударил по больному Шитиков. — Как лучше всего свои контингенты выявлять? А вот так, дескать, коллекцию собираю. Где лучше всего списки будущих сообщников хранить? Да в музее!

— Музей, Алдымов, вроде не мой огород, — пытался оправдаться Михайлов.

— Зато лопари — твой огород! Друг ты мой, Ваня, я тебе ниточку даю, тяни. Ты в наших краях человек новый, а я тебе как старожил говорю. Саамы — народ ох непростой и неплохо вооруженный, на советскую власть смотрит косо, так что умному да проворному человеку поднять их ничего не стоит. — Шитиков смотрел на знаменитого капитана траулера «Пикша», обмывавшего в шумной компании орден «Знак Почета». Капитан встал из-за стола, одернул чуть приталенную форменную тужурку со стоячим воротником, подошел к оркестру, сунул саксофонисту деньги и что-то заказал.

Оркестр, как водится, сидел на возвышении, а стена за спиной музыкантов была украшена расписной панорамой новой жизни Заполярья.

Надо льдами, взломанными ледоколом «Иосиф Сталин», парили дирижабли, с северным сиянием спорили огни Туломской ГЭС, с дрейфующей станции махали руками зимовщики, а счастливые рыбаки, горняки и оленеводы смотрели со стены на счастливых рыбаков, горняков и оленеводов, сидевших за столиками ресторана.

Капитан еще не успел сесть на место, как оркестр, к полному удовольствию многочисленной публики, ударил «У самовара я и моя Маша...».

Михайлов заулыбался и стал слегка раскачивать головой в такт зажигательной музыке, будто и вправду забыл о том, что услышал от Шитикова.

— Любишь музыку? Но ты меня дослушай. — Шитиков чокнулся со стоящей на скатерти рюмкой Михайлова, приглашая его выпить. — Саамы — это по твоей час-

ти, твой район, тебе их, Иван Михайлович, и от беды спасать. Я тут поднял бумаги, могу тебе сказать: с 1930-го по 1936-й: ты слышишь, по саамам и мурманским коми, ижемам, не было вынесено ни одного смертного приговора! Ни одного! Шесть лет. Даже, считай, семь. Скажу тебе, между нами, от Ловозерского отделения в Мурманске ждут активности. Что на последнем совещании говорил Гирин? Вот то-то!

Разглашать в ресторане сказанное на закрытом совещании, где подводились предварительные итоги уходящего 1937 года, не полагалось.

Оперативный удар, нанесенный в 1937 году, был признан недостаточным. Очень слабо очищены районы. В удаленных районах выявление антисоветских и шпионских элементов крайне слабое, и репрессирование их оценивается как неудовлетворительное. Это критика в адрес как раз Михайлова, и таким, как Михайлов, не в бровь, а в глаз. А вот еще и низкий уровень следственной проработки арестованных контингентов, это уже недостаток общий. Что в итоге? В итоге репрессированные кулаки, националисты, шпионы осуждались несознавшимися!

Страстно говорил товарищ Гирин, с огоньком: «Приказываю выявлять активных и верхушечных вражеских кадров».

Из всего сказанного на совещании по итогам года, вписанного красной строкой в историю органов, Михайлов крепче всего запомнил то, что было адресовано, можно сказать, прямо ему: «Есть опасность того, что районы, в которых оперативный удар был наиболее слабым, по-прежнему останутся недостаточно очищенными».

А еще Михайлов крепко запомнил установку, решительно объявленную заместителем начальника Краевого управления НКВД: не ждать вылазки врага, не ждать диверсий и терактов, а действовать, опережая замыслы. Он учил, как выявлять затаившихся изменников, выявлять и вырывать с корнем, как сорную траву, без пощады. А если арестованный не понимает, что он представляет угрозу государству, что он и есть затаившийся изменник, то надо ему объяснить. Действительно, многие не понимают, что в грядущих боях с мировым капиталом, в силу своего происхождения, идейной неустойчивости, принадлежности, пусть и в прошлом, к враждебным политическим партиям, они могут оказаться в сетях врага. Четкие слова начальника запали в души и память подчиненных: «Добиваться признательных показаний, выходить последовательностью мысли за рамки показываемого обвиняемым!»

Товарищ Гирин знал, что у какой-то части сотрудников, как бы тщательно они ни отбирались, могли обнаружиться и мягкотелость, недостаточная твердость в исполнении долга. Так вот, для укрепления этих товарищей, способных к сомнению, припасен убийственный аргумент: «Мы очищаем наше общество от продуктов разложения отжившего организма. Когда вы будете видеть перед собой не Ивана Ивановича Иванова, а продукт отжившего организма, все сомнения отпадут».

Выглядел Гирин неважно, и лучше бы ему слова про «отживший организм» не говорить. И так-то не блиставший здоровьем, за последнее время он сильно сдал. Все на совещании в Мурманске это заметили. Нездоров был, что-то изъедало изнутри. Спрашивать начальство о здоровье все равно что сомневаться в его бессмертии, нетактично, но все видели ввалившиеся щеки, заострившийся нос, вытянувшиеся в ниточку безжизненные губы. Если не знать, какая жгучая сила таится под этой пергаментной оболочкой, подумаешь — живой труп. Проклятый пневмоторакс, следствие двух пулевых ранений в грудь, иссушал верного слугу смерти.

В Мурманск в начале 1938 года Гирин, как вскоре оказалось, приехал готовить предупреждающий удар против начальника Апатитстроя Василия Ивановича Кондрикова. Ударил наповал и показал всем, как далеко можно и нужно выходить «за рамки показываемого обвиняемым».

Алдымов, конечно, не Кондриков, тот — «князь Кольский» — самим Кировым в эти края назначенный, но ничего лучше в замыслах Михайлова не было.

Шитикову, конечно, спасибо, только чего это дался ему этот музейщик, возвращаясь в Ловозеро, соображал Михайлов?

## 14. НО ЧНОЙ ВИЗИТ САРАЗКИНА

Стук в дверь заставил Алдымова оторваться от письма, и первое чувство было чувством досады, не успел дописать, но тут же подумал, что, если бы и успел, едва ли сумел отправить.

Письмо, как и вся переписка с Лакрицким, была для него сейчас самым важным, самым неотложным делом. Наконец-то возникла реальная возможность издать саамский фольклор. Наконец-то более сотни сказок и легенд, живших только в устных преданиях, могли быть предьявлены миру.

С Лакрицким, получившим в свое время приглашение Ферсмана принять участие в экспедиции в Монче-тундру, Алдымов познакомился в 1931 году почти случайно. Вообще-то Лакрицкий как исследователь и писатель был специалистом по Памиру, знатоком Востока и на Кольский приехал впервые. Алдымов с осторожностью относился к именитым «экскурсантам», убеждаясь в том, что эпизодические наезды в ставшее чуть ли не модным Заполярье вовсе не гарантируют готовности послужить этому краю. Но экспедиция была удачной, Лакрицкого поразила урюмая щедрость этой земли, приветливость ее мужественных жителей. Он сравнивал, естественно, людей Востока и обитателей северных тундр. Восточная щедрость была как бы продолжением изобилия и щедрости Юга, щедрость людей Севера была исключительно потребностью их сердца. Общаясь с Алдымовым в Апатитах, на горной станции Тьетте и в экспедиции, а еще и после ее завершения, уже в Мурманске, невозможно было не заразиться его увлеченностью самым древним из европейских народов. И уж совершенно не случайно в очерках и рассказах Лакрицкого о Заполярье так много места заняло, по сути, крохотное племя саамов. И вот удача! Нынче летом Лакрицкий снова появился в Мурманске. Алдымов без раздумий вручил ему рукопись фольклорного сборника, даже не озаботившись перепечатать его на машинке и оставить себе экземпляр. Лакрицкий обещал связаться с Ленинградским филиалом ГИХЛа и всячески споспешествовать первому научному изданию памятника саамской культуры.

Как только взяли Симу, Алдымов, приходя домой, после исполнения вместе со Светозаром всех хозяйственных дел, уложив сына спать, уходил с головой в подготовку сборника. Это было не только долгожданным делом, но и бегством от сознания своего бессилия, невозможности найти средство для спасения Симы. Он извлек из пронумерованных папок и коробок материалы, накопившиеся за без малого пятнадцать лет. Каждая запись, каждый блокнот тут же воскрешал историю поездок, встреч, иногда и настоящих злоключений. Многие листы хранили на себе следы купания и в холодной пресной воде, и в ледяной соленой. Все записи в полевых блокнотах были сделаны карандашом, устойчивым против воды. Да и чем еще можно записать сказку, рассказанную возницей во время переезда на оленях зимой из Краснощелья в Чалмны-Варрэ или на лодке, летящей вниз по Поною. Теперь он писал подробнейшие комментарии к текстам, просматривал все *полевые* блокноты, чтобы с точностью указать, где, когда, с чьих слов была сделана запись. Записывал он на языке рассказчика, и потому требовалось еще и пояснить, на каком диалекте был исполнен рассказ, снабдить его буквально подстрочной записью. Несколько сказок было рассказано на русском, и это также необходимо было

отметить. Следовало собрать воедино все варианты, все подробности, все толкования. У каждого рассказчика свой язык, свои краски, и потому следовало сохранить и различные версии преданий. Еще часть сказок с минимальной литературной обработкой, записанных от руки, Алдымов уже отослал Лакрицкому. Стремясь к возможной полноте сборника, он включил в него и те немногие легенды, что были записаны как «побочный материал» исследователями, работавшими по другой тематике.

Алдымов видел, как начали его сторониться в городе, и первым оказался Чертков, в свое время сам себя возведший в звание «друг дома». В пору своих длительных командировок на Север Егор Ефремович признавался, что злоупотребляет гостеприимством Алдымовых, но эти признания были так трогательно покаянны, что, разумеется, извиняли гостя, временами становившегося все-таки обременительным.

У Алдымовых он чувствовал себя легко, по-столичному слегка фрондируя, любил поговорить о жизни во времена заблуждений, срама и бесстыдства, о тягостных годах всемирного землетрясения. Когда же при нем заходила речь о неодолимой несправедливости, мужественно бросал: «Ну что ж, вкушаем плоды своего малодушия». Когда кто-нибудь при нем слишком эмоционально отзывался о горестных текущих событиях, Егор Ефимович призывал на помощь Спинозу, возвещая философски значительно: «Не смеяться, не плакать, а понимать!»

Теперь Чертков, по собственному выражению, с пониманием отнесся к ситуации, возникшей в доме Алдымовых.

Дневной арест Серафимы Прокофьевны мгновенно стал в городе известен, и, встретив Алдымова в Педагогическом техникуме, Чертков с лицом, исполненным более чем сдержанного участия, произнес: «Понимаю ваше положение». «Понимая положение», больше в дом на улице Красной он не приходил и даже не звонил, хотя номер 36-72 знал лучше, чем любой другой в Мурманске.

После ареста Симы Алдымов сразу же коротко сообщил о свалившейся беде своему ленинградскому коллеге.

Лакрицкий, оценив признание Алексея Кирилловича, в ответном письме, где речь шла в основном о переговорах с издательством, счел тем не менее возможным написать слова сочувствия и уверенности в благополучном разрешении судьбы Серафимы Прокофьевны. Это был мужской поступок, ленинградский корреспондент, разумеется, догадывался, что вся почта в адрес семьи арестованной, скорее всего, *просвечивается*. Теперь в своих письмах, исключительно деловых, Алексей Кириллович вставлял два слова: «Живу по-старому», из чего следовало, что хороших новостей на горькую тему нет.

Не далее как два дня назад пришло письмо, где Лакрицкий сообщал о новых требованиях издательства к сборнику саамского фольклора. Издательство обусловило возможность выпуска сборника наличием в нем, как было записано в рекомендации, «патриотизма и чувства любви к родине», как будто это две разные вещи. Также требовалось устранить все, в чем можно было бы увидеть мистику. В своем ответном письме Алдымов не удержался и написал все, что думал о трусливой позиции издателей, которые хотят быть большими католиками, чем папа римский.

Книга таяла на глазах, сжимаясь до дозволенного. Бедные саамы, рассказывая в своих героических сагах о том, как в борьбе с врагами герои прибегают к чародейству, даже не подозревали, что вызовут страх в Ленинградском филиале Государственного издательства художественной литературы!

Ночной стук в дверь оборвал письмо, сопровождавшее высылаемую Лакрицкому «Сагу о Красной Катерине», сагу героическую, вполне патристическую и лишенную какой-либо мистики.

Стук повторился, и Алдымов подумал, что *они* стучали бы более решительно, особенно во второй раз.

Он вышел в сени и, секунду помедлив, не спрашивая, кто там, откинул щеколду на двери.

— «...Дай мокнущему сухо место, дрожащему теплоть!» — едва шевеля замерзшими губами, произнес Саразкин.

— «Да уж приходящего ко мне не издену вон!» — в тон гостю с облегчением произнес Алексей Кириллович. — Кого, думаю, Бог послал, а это наш преподобный Дмитрий, в пустынях подвизающийся, постник и молитвенник...

— Истинно так, Алексей Кириллович, и пощусь, и молюсь за вас, нехристей...

— Входите же, Дмитрий Сергеевич, входите, — Алдымов пропустил гостя и, прежде чем закрыть дверь, выглянул на улицу.

Одинокий фонарь у магазина Рыбторга, не пробивая окружающую темноту, радужным ореолом высвечивал снег, летящий сквозь световой круг.

— Земотдел... Срочно... Карты ягелевых полей по Семиостровью, Чалмны-Вааре... Отчет по селекции... Тысячу извинений, Алексей Кириллович, в «Доме оленивода» ни одной свободной койки, даже диванчика в коридоре свободного нет, об «Арктике» и говорить нечего... — отряхивая снег с валенок и дохи из волчьих шкур, продолжал извиняться Саразкин.

— Давайте сюда ваши «фитоценозы», — приговаривал Алдымов, забирая из рук Саразкина футляры с картами и баул с пожитками.

— Вижу, у вас свет в окошке... Вы мое спасение. Мы должны были, самое позднее, часам к восьми-девяти прибыть, а на Тайболе такая пурга поднялась... Там всегда задувает, место высокое, а тут и нос не высунуть. Пришлось ждать, пока заряд пройдет... Знаю, как вам гости досаждают, но я только до утра. Брошу доху где-нибудь в уголок... — не выпуская снятую доху из рук, Саразкин вошел из сеней в кухню.

— Ну что ж вы такой церемонный? Пришли, и слава Богу. Может быть, вас-то мне как раз и нужно. Когда мы последний раз виделись?

— Месяца два, нет, больше, где-то в середине октября я у вас квартировал.

— Вот видите... Уже полтора месяца, как гости нам не досаждают... Как Серафиму Прокофьевну арестовали, только саамы еще по старой памяти заглядывают, а больше никого. — Алдымов прямо взглянул на гостя.

— Я не понял... Я не ослышался?... — опешил Саразкин. — То есть как?.. Серафиму Прокофьевну?.. Какое несчастье...

— Сколько раз я уговаривал вас перебраться в Мурманск, поближе к цивилизации, а теперь вижу, что жизнь Робинзона имеет свои преимущества.

— Что-то связанное с работой? Медицинская ошибка?

— Насколько я понимаю, к работе ее арест отношения не имеет. Все мои попытки хоть что-то прояснить упираются в глухую стену. Так что я, Дмитрий Сергеевич, хотя и рад вас видеть, но должен сразу же предупредить: наш дом нынче на подозрении. — Алдымов выжидающе посмотрел на опешившего гостя.

— Алексей Кириллович, дорогой мой друг, — гость вылез из глубоких, выше колена, валенок и поставил их у входа, оставшись в цветных толстой поморской вязки носках.

Алексей Кириллович был удивлен: Саразкин никогда к нему подобным образом не обращался. У них были давние добрые отношения, исполненные уважения, но исключительно деловые. Алдымов предлагал, и неоднократно, Саразкину переехать из Краснощелья в Мурманск, где геоботанику нашлось бы работы куда больше, чем чертить карты ягельных полей совхоза. За настоятельными приглашениями в Мурманск было и нескрываемое желание чаще видаться, больше общаться,

но ни брудершафтов, ни дружеских признаний меж ними не было, и вдруг — «дорогой мой друг»!

Саразкин подошел, взял Алдымова за обе руки, словно боялся, что тот не дослушает.

— Ваш дом на подозрении, но не у меня. Если понадобится, я готов засвидетельствовать где угодно... Я знаю Серафиму Прокофьевну и вас семь лет... Простите. Говорю глупость, вас с Серафимой Прокофьевной достаточно знать день, час, вы же с первого взгляда... Господи, что же это такое?..

— В таком случае... Вам все на нашей кухне знакомо. Вот чайник. Вот электроплитка... Вам нужно согреться. А мне, Дмитрий Сергеевич, нужно дописать письмо. Прошу меня простить великодушно. Я должен его отправить завтра утром... это пятнадцать минут.

— Какие извинения... Меня простите, нахала и невежу... Вы к письму. Я — к чайнику. Что Светозар?

— Спит, — подавив вздох, проговорил хозяин дома и вернулся к письменному столу.

## 15. НО ЧНОЙ ВИЗИТ САРАЗКИНА.

### Продолжение

В кругу каждого думающего человека не так уж много людей, с кем можно непринужденно и просто говорить о вещах, лежащих за пределами будничных забот. Встречаясь, Алдымов и Саразкин могли вести разговор так, словно вчера прервали его на полуслове. Иногда, даже после довольно длительной разлуки, они забывали поздороваться, а сразу начинали разговор, словно минуту назад прерванный.

Этого не было у Алдымова в общении с Чертковым.

Там за поверхностью самого простого, даже бытового разговора, на расстоянии одной-двух фраз лежал если не спор, то приглашение к спору, подпитываемое не то чтобы соперничеством, но постоянным желанием Черткова напомнить самоучке Алдымову, что есть наука, есть люди науки, а есть энтузиасты, любители, и смешивать одно с другим не следует. Свое превосходство Черткову приходилось утверждать еще и потому, что Алдымов был на семнадцать лет старше, да и повидал больше.

У людей, отягощенных потребностью самоутверждения, как-то сама собой вырабатывается поза «фехтовальщика», человека, пребывающего в постоянной готовности наносить и отражать удары. Алдымов эту манеру питерского коллеги объяснял издержками неизжитой молодости, свойством темперамента, складом характера.

А вот Серафима Прокофьевна обладала редким слухом, позволявшим ей слышать работу спрятанного в человеке червя, вершащего работу душевной червотчины.

Ни с чем не сравнимое женское сторожевое чувство делало ее особенно чуткой на всяческую неискренность, лукавство, ее сердце слышало каждую фальшивую нотку в людях, окружавших беспечно, не умеющего враждовать ни явно, ни тайно Алдымова. Вот и в Черткове она видела человека, как она говорила, «инфицированного тщеславием».

Присутствие в доме Черткова, с его чуть преувеличенной доброжелательностью, предупредительностью, чуть покровительственной галантностью, превращало общение в какую-то странную игру. Алдымов по доброте душевной ему слегка по-

дыгрывал, выдерживая в разговоре ироническую ноту. Серафима же Прокофьевна к играм, не доставляющим удовольствия всем играющим, относилась крайне настороженно. Однажды после ухода Черткова, полвечера проговорившего, адресуясь главным образом к Серафиме Прокофьевне, о семантических и семиотических свойствах саамской фразеологии, Алдымов, закрыв за гостем дверь, только покачал головой и облегченно вздохнул. «Странный все-таки Егор Ефремович, никак его не пойму...» — помогая убрать со стола, сказал Алдымов. «А вот Черткову кажется, что ты как раз видишь его насквозь, кому же это может понравиться? Ему так хочется быть загадочным. Мы же это читали: Грушницкий... Впрочем, не совсем. Это Грушницкий, вообразивший себя Печориным...» — «Скажи уж прямо, не любишь ты Егора Ефремовича...» — «Мне тебя любить ни сил, ни времени не хватает. Егор твой Ефремович уж как-нибудь без моей любви проживет...»

Еще в молодости, пообжившись в петроградских гостиных, Чертков усвоил нехитрые приемы притязаний на духовный аристократизм. Все хвалят Пушкина и жалеют, что жизнь его так рано и несчастливо оборвалась. Здесь самое время пожалеть «просто по-человечески», нет, ни Натали Николаевну, ни детей, а Николая Первого. Вот где можно выказать такое великодушие и умение войти в обстоятельства одинокой души, взявшей на себя этакий груз... А еще лучше, вернее, и неожиданнее, и смелее пуститься в защиту, к примеру, Сальери. Все, читавшие Пушкина, хвалят Моцарта и жалеют, что его жизнь так рано и несчастливо оборвалась. Вот тут-то и хорошо «просто по-человечески» пожалеть Сальери в уверенности, что кто-то услышит впервые о прижизненной славе Сальери такого размаха, что говорить о «ревности» к кому бы то ни было, о зависти просто нелепо. А если бросить вскользь напоминание о том, что в двадцать четыре года Сальери стал придворным композитором австрийского императора, в то время как Моцарт тщетно добивался этой чести, то можно иронически предположить желание как раз Моцарта отравить Сальери и гарантированно заслужить улыбку дам и смущенное покашливание старцев...

Умел, умел подать себя Егор Ефремович, хотя ни одной из сорока написанных Сальери опер назвать бы не смог. А вот умение запутывать то, что ясно, всегда почиталось признаком ума недюжинного.

Случалось говорить и о власти, как-никак дом Алдымовых не кают-компания на военном корабле, где о властях, деньгах и религии разговоры запрещены уставом еще с петровских времен. Свою лояльность Чертков умел выразить, не вступая в спор со сторонниками вольностей.

— Я полагаю, уж лучше грозный царь, чем боярская многоголосица. Ничего, кроме смуты, многобоярщина породить не может.

Откуда бы ей взяться, «боярской многоголосице», а «грозный царь» — вот он, и ему совершенно безразлично, из каких соображений выказывается ему предпочтение. Лояльность — это тоже искусство!

Даже в ироническом на первый взгляд величании себя «товарищем из центра» Серафима Прокофьевна чувствовала желание Черткова выглядеть в доме Алдымовых снисходительным начальством, и он не упускал случая это великодушие выказать в самой непринужденной форме.

Люди расчетливые и чуждые сентиментальности любят демонстрировать свою чувствительность и чуть ли не беспечность в случайных высказываниях.

— Представляю, как необыкновенно хороши вы были в молодости, — произнес однажды Чертков, подчеркнуто внимательно и долго рассматривавший портрет Серафимы Прокофьевны со шпажником. — Как жаль, что Алексей Кириллович не видел вас в эту пору.

— Напоминать женщине, что ее молодость прошла, мне кажется, невеликодушно, — холодно сказала Серафима Прокофьевна.

— Простите, дорогая Серафима Прокофьевна, простите мне эту вспышку грусти, такой внезапной и такой естественной. Виной тому вот этот чудесный портрет. Я его так люблю.

Черткова с Алдымовым соединяло множество общих забот и по Комитету нового алфавита, и работа в окрисполкоме по районированию, ну и, конечно, все, что связано с саамским этносом. Алдымову казалось, что у Серафимы Прокофьевны сложилось совершенно неосновательное предубеждение относительно Егора Ефремовича. «Не так страшен Чертков, как ты его малюешь», — повторял Алдымов, когда в очередной раз Серафима Прокофьевна замечала неискренность, скрытое лукавство молодого коллеги, готовая видеть их там, где Алдымов видел только азарт молодости или правомочное различие научных концепций. К Черткову, человеку крупного телосложения, а от длительных сидений за столом слегка сутулому, с вытянутым, чуть-чуть лошадиным лицом, предпочитавшему не говорить, а высказываться, никак, по мнению Алдымова, не подходило прозвище, данное ему Серафимой Прокофьевной, — суматоха. «Душа у него суматошная. — Жена стояла на своем. — Разумеется, шрифт в саамском букваре должен быть наш, кириллица. И он это знает. Но тогда букварь будет твой. Вот он и суетится. И устраивает учебную суматоху». — «Тебе просто хочется, чтобы мой букварь победил. Спасибо. Но все не так просто», — Алдымов уходил от серьезного разговора, и нескрываемые подозрения Серафимы Прокофьевны огорчали его и казались совершенно неосновательными. Саразкину наблюдения Серафимы Прокофьевны казались не лишены оснований, и он в свою очередь иронически замечал, что Егор Ефремович предрасположен к властвованию, даже не имея подданных.

Совершенно безраздельно все симпатии Серафимы Прокофьевны были на стороне Саразкина и его жены Надежды Ивановны, самых желанных гостей в доме Алдымовых. Точно так же как Чертков напоминал, что он «товарищ из центра», Дмитрий Сергеевич не упускал случая извиниться за «крестьянскую нашу простоту». Считалось, что его отец, известный ученый-биохимик, министр просвещения во Временном правительстве Керенского, среди кадетов, октябристов, трудовиков и меньшевиков представляет крестьянство. Ни сословная масть, ни партийная не казалась ученому чем-то существенным рядом с обширнейшим, необозримым полем практической работы, представлявшей для него первоочередной интерес, как до революции, так и после нее. Сына своего отец готовил к научному поприщу, но по завершении обучения на естественном факультете уже Петроградского университета в 1916 году дипломированный геоботаник решил, несмотря на все возражения отца, идти в армию.

Однако для Алдымова оставался без ответа вопрос, почему человек с ясной головой, образованный, с широким кругом интересов, лежащих за пределами его профессиональных дел, засел в такую непролазину и так упорно держится за Краснощелье. Работы в опытном, или, как шутил Саразкин, «подопытном», оленеводческом совхозе «Ленпушнина» для специалиста с университетскими знаниями было полно. И картографирование, и оценка биоресурсов, возможности пастбищ, состав и движение лесов, селекционная работа, всего не перечтешь, только едва ли вся эта деятельность могла удовлетворить человека, жадного к знаниям, изголодавшегося по музыке, театру, хорошей живописи, особенно по живой музыке. А что отец? Бывший министр Временного правительства благополучно перекочевал в советскую жизнь. Даже пребывание во врангелевском Крыму не стало препятствием для профессора-биохимика в получении в 1924 году поста ректора Крымс-

кого университета. С 1927 года и до конца дней Саразкин-старший возглавлял Всесоюзный институт экспериментальной медицины в Ленинграде. А в 1932 году умер, как говорится, в своей постели, своей смертью. У Алексея Кирилловича хватало такта не быть настойчивым в поисках ответа на занимавший его вопрос, сам же Саразкин ограничивался довольно общими рассуждениями, хотя к заполярной ссылке, изгнанию из «большого мира», приговорил себя сам и знал за что. Может быть, по внутреннему ощущению лучше всего было бы податься куда-нибудь в скит, но недостаток полноты в его религиозном чувстве, неглубокое, поверхностное отношение к обрядовой стороне веры исключали для него реальное принятие схимы.

— Как ваш отец отнесся к решению осесть в Заполярье? — вскоре после знакомства поинтересовался Алдымов. Батюшка Саразкина еще был жив.

— Плохо, — с готовностью ответил Саразкин. — «Противиться, говорит, твоему решению я не могу, но не могу его и одобрить. Боюсь, что за всем этим стоит какая-нибудь интеллигентщина». Я пытался что-то говорить, но он же человек умный, проницательный. «В твоём бегстве в какое-то там Краснощелье видится что-то уж очень символическое. А жизнь — вещь реальная, реальна она в Петрограде, и в символическом твоём Краснощелье она будет такой же реальной».

К попыткам вытащить близкого душе человека из Краснощелья Алдымов обращался не раз: «Вы же интеллигентный человек, вам нужна среда...» — он не стал договаривать. «Я понимаю, о чем вы говорите. Но мне и оттуда видно то, что необязательно видеть рядом. Интеллигенция растерянна и поэтому с таким доверием, с такой легкостью относится к чужому самоуверенному голосу... И ждать, тем более требовать добросовестной смелости не откуда».

И все-таки Алдымов назвал решение жить в Краснощелье неверным.

«Неверные суждения, — неожиданно сказал Саразкин, — я понял, так же отвечают жизненным потребностям, как и верные. Определенный тип жизни поддерживается, скажем так, всеми принимаемыми суждениями, то есть как раз такими, которые по прошествии времени будут признаны неверными».

В другой раз о нежелании что-то менять говорил иначе: «Мне один весьма и весьма умный человек дал практический совет. Поступайте, говорит, как во время чумы. Бегите первыми... Занимайтесь собственными делами, ни во что не вмешивайтесь... Ни о ком не говорите ни худого, ни хорошего, не зная, как обернутся события... Не наживать врагов и не доверять никому, кроме Бога...»

«Но в этом признании я вижу немало доверия ко мне», — с улыбкой заметил Алдымов.

«Совершенно справедливо. Доверяю вам, Алексей Кириллович, это, безусловно, вам и Господу Богу».

И все-таки чутье не обманывало Алдымова. Он чувствовал, что милый его сердцу и уму Саразкин скорее уходит от убедительного объяснения своего затворничества, а вовсе не пытается его оправдать.

И действительно, Дмитрий Сергеевич тяжесть, легшую на его душу, ни с кем не делил. И даже будучи человеком верующим, не просил у Бога прощения за преступления, в которых считал себя участником. Для себя Дмитрий Сергеевич не искал ни оправдания, ни снисхождения. Одно дело — грех, другое — преступление. *Грех* в его представлении был фактом душевного отступничества, малодушия, и здесь помощь и укрепление душевных сил он черпал в мыслях, обращенных к Вседержителю. Что же касается *преступления*, дела сугубо земного, ему было попросту стыдно обращаться к силам безмерным, вечным, к средоточию вселенских смыслов, чтобы *молить* о прощении. Его рассуждения были просты и убедительны. Спаситель страдал во искупление грехов человеческих, а преступление — это уже другая сфе-

ра. История с покаявшимся на кресте разбойником, как ему казалось, была присочинена лишь для оправдания малодушия, а вовсе не для еще одного свидетельства безграничного милосердия и всепрощения.

Саразкину случилось вспоминать свою службу сначала в Народной армии КомУча, Комитета Учредительного собрания. Это было одно из экзотических и недолго просуществовавших воинств Гражданской войны. К бойцам там обращались «гражданин солдат». Отдавал честь «гражданин солдат» только своему непосредственному начальнику и только один раз в день. Кто «гражданину солдату» приходится прямым начальником, которому не надо вовсе отдавать честь, а кто «непосредственным», которому надо честь отдавать раз в сутки, с трудом понимали не только «граждане солдаты», но и сами начальники. Дмитрий Сергеевич, носивший фуражку с георгиевской лентой вместо кокарды и нарукавную нашивку подпоручика, вспоминал эти недолгие месяцы службы под поблекшим знаменем Учредительного собрания, по большей части с улыбкой. В конце сентября 1918 года Народная армия КомУча, насчитывавшая уже восемь стрелковых полков и несколько эскадронов конницы, была поглощена армией Уфимской директории, в свою очередь попавшей под знамена Колчака. Полтора года этой службы Дмитрий Сергеевич старался не вспоминать.

Оказавшись в плену у красных после завершения кровавого колчаковского фарса, Дмитрий Сергеевич был уверен, что будет расстрелян. Он видел себя, сжимающим пухленькие, в рубчик, рукоятки «максима», помнил провал гашетки под скользкими от пота большими пальцами, судороги четырехпудового тела станкового пулемета, дрожащую мушку, язычок пламени у надульной втулки, помнил свою молитву, обращенную к грохочущему пулемету: «Не подведи... Не подведи...», и видел спотыкающихся и падающих русских мужиков, бегущих убить его, Дмитрия Сергеевича Саразкина. А потом они бежали от него, и он им стрелял в спину. За год и четыре месяца войны ему пришлось трижды лежать за пулеметом... Когда после *этого* он слышал обращение к себе солдат: «Ваше благородие...», ему казалось, что Небеса должны были треснуть от смеха или гнева. И все рассуждения о том, что война есть война, что убьют тебя, если ты не убьешь, быть может, в тысяче случаев вполне утешительные, Дмитрию Сергеевичу не помогали. И для отца, родившегося в селе Дошатовое Меленковского уезда Владимирской губернии, и для самого Дмитрия Сергеевича, родившегося в тихом Касимове, восемь веков тянущего над Окой трудовую лямку, понятие «мужик» было не сословным знаком *му) жицкого отродья*, а обозначением человеческой силы, выносливости и надежности. Не первый русский человек Дмитрий Сергеевич и, Бог даст, не последний, кто убивал ради пользы человеческой, а попал в себя.

О самой же Гражданской войне рассуждал в гостях у Алдымовых как биолог.

— Революция — контрреволюция, говорят, две правды. Две правды? А вдруг две неправды? Пожалуй, поясню... Возьмем организм, возьмем человека. Дивно устроен человек. Одна железа вырабатывает щелочь, другая соляную кислоту, и то и другое необходимо для надежного пищеварения. А если щелочная железа пойдет войной на кислотную? Кто бы ни победил, кому нужна эта победа, если плохо всему организму. Где в такой войне правда?

Гости смеялись.

— Вы ботаник, у вас публика мирная, травки, кустики, цветочки, а у людей...

— Что вы, в растительных сообществах такие войны идут, даже термин придумали «фитосоциология»... — горько вздыхал Дмитрий Сергеевич. — Видно, так уж мир устроен, кругом соперничество, вражда, борьба за свет, воду, почву... Увы, все органические существа пребывают в жестоком соперничестве...

Запечатав конверт, Алдымов вышел на кухню, где Саразкин смотрел на подзакоптившийся эмалированный чайник с широким доньшком, по-холостяцки запущенный, гревшийся обычно на плите, теперь вот на электроплитке и уже пустивший первый легкий парок из гнutoго по-лебединому носика.

Алдымов достал из кухонного шкафчика посуду.

— На Тайболо нас такой силы заряд прихватил, думал, и домишку снесет.

— Место высокое, там уж задует так задует.

— Крышу рвет, а я себя уговариваю: бури необходимы, освежают воздух, ломают все ветхое, все отжившее...

— Это взгляд скорее поэтический, чем практический, — расставляя на столе посуду, сахарницу и корзиночку с сухарями, негромко сказал Алдымов. — Увы, стихия не разбирает, где отжившее, где живое. Буря с легкостью уничтожает и только нарождающееся, здоровое, еще не укоренившееся. «Пусть сильнее грянет буря...» — это хорошо писать где-нибудь на Капри, потягивая «Кьянти». Бодрит, волнует, щекочет воображение. А я скучный человек, я статистик, мне надо подсчитать, в какую цену обойдется это освежение воздуха и кто будет за него платить. Видите, стал безнадежным консерватором. — И тут же перешел к главному, о чем давно собирался сказать: — Я понимаю, Дмитрий Сергеевич, что и для меня, и для вас, я в этом уверен, самая важная тема сегодня есть только одна, но вот ее мы и не будем касаться. — Саразкину не нужно было объяснять, что речь идет о Серафиме Прокофьевне. — Сам ничего не знаю, не понимаю и добиться хоть какой-нибудь ясности не могу. Рад, что на Тайболо дул ветер и занес вас к нам. — Алдымов говорил и говорил, словно боялся, что заговорит Саразкин. — Когда на душе скверно, то особенно ценишь возможность поговорить... о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви... — Алдымов виновато улыбнулся. Помолчал. — Господи! Человек с мороза, а я тут развожу... Рюмку, Дмитрий Сергеевич! И я вас поддержу... Что говорил Гоголь? Приносимые русским человеком частые жертвы Вакху показывают, что в славянской природе есть еще много остатков язычества! — Алексей Кириллович редко упускал возможность напомнить о своем атеизме, для порядка именуем язычеством. — В рассуждении закуски у нас консервы... Мы теперь со Светиком как на зимовье. — и хотя сам же запретил говорить о случившемся, заговорил снова, словно только об этом и мог говорить: — Одно могу сказать, меня удивляет Светозар. Переносит случившееся стойко. Ждет. Представляю, сколько нужно душевных сил, чтобы не задавать мне вопросы.

Алдымов уже забыл, как он ответил на вопрос сына после ареста Серафимы Прокофьевны. «Будем надеяться на справедливость и будем помогать тем, кому хуже, чем нам», — эти слова были сказаны как-то вдруг, в утешение сыну, о них уже сам Алексей Кириллович и забыл. Светозар же к своим двенадцати годам твердо усвоил: отец случайных слов не говорит. Когда он огляделся в поисках тех, «кому хуже, чем нам», то подумал в первую очередь об отце, именно отцу куда хуже, чем ему. Он так и понял слова отца как просьбу не задавать ему вопросы.

Алдымов поспешно поднялся, двинулся к буфету, и на столе появился пузатый графин с двумя желтыми соломинками зверобоя.

— Да, где-то у нас останки «полярного залом» должны быть... «Каспийский залом», по моим воспоминаниям, прямо-таки «его благородие», да и только, но Сима отдает предпочтение «полярному»... — поймав себя на том, что сам объявленное табу и нарушил, назвав имя жены, тут же попробовал сменить тему: — Был у меня в приятелях во дни юности мятежной один старик из белоподкладочников, Мигаловский, это он мне внушил непревзойденные достоинства зверобоя, — проговорил Алдымов, разливая настоящую на пахучей травке водку. — Был этот старичок при царе-батюшке на подозрении, даже угодил в ссылку в Соликамск, три года отбухал, сначала переписывались, а сейчас жив ли, нет — не знаю.

Сам же Алдымов «отбухал» в ссылке пять лет, по столыпинской зачистке, с 1907-го по 1913 год. Вспоминал свою ссылку с благодарностью, как «университет», поскольку систематического образования не имел, а здесь можно было при желании восполнить недостаток знаний и в чтении литературы и в общении с местной интеллигенцией и немалым числом ссыльных, людей по преимуществу образованных. Теперь в веселую минуту даже именовал себя «старым политкаторжанином», испытавшим «все ужасы царизма».

— Ваше здоровье, Дмитрий Сергеевич, будем считать, что не только ветры, но и силы более значительные и добрые споспешествовали вашему появлению под нашей сенью. Ваше здоровье!

Прятели чокнулись и выпили.

— Последнее время, Дмитрий Сергеевич, я начинаю постигать мудрость вашего отшельничества. Представьте себе, я сделал величайшее открытие, жаль только, практического применения оно иметь не будет. До сих пор скорость света в природе считалась предельной. Это не так. Оказывается, есть еще скорость тьмы. Тьма распространяется куда быстрее, чем свет, но не прямолинейно. До Краснощелья, глядишь, может, и не дойдет...

— Вы говорите о моем отшельничестве... — Алдымов услышал голос Саразкина, словно откуда-то издали. — Не все ли равно, где прожить частичку вечности. Где бы еще я имел возможность прикоснуться к учению Аристотеля о материи и вместе с ним пережить открытую им потенцию материи, несущей в себе возможность преобразования. Не только преобразующий дух участвует в жизненных переменах, но и в инертной на первый-то взгляд в самой материи заложена энергия перемен. Вот вам еще одно свидетельство единства мира.

— Было время, я тоже утешался древними греками. Да еще как! — Здесь Алдымов замолчал, вспомнил вагончик, где читал Симе стихи древних греков, — заметив на себе вопросительный взгляд Саразкина, продолжил как ни в чем не бывало: — Случалось, в трудные минуты я вспоминал Архилоха: «В меру радуйся победе, в меру в бедствиях горюй. Смену волн познай, что в жизни человеческой царят». Все! Я стал бояться слов. Обо всем все сказано. И слова утешения, и «оставь надежду...» Мы не первыми живем на земле, страдаем, радуемся, надеемся... Но разве это утешает? «Смену волн познай...» А будет ли смена? А если тебя с головой накрывает последняя волна?

— К слову сказать. Я как-то подумал, что первым интеллигентом на Земле была Кассандра.

— Что ж за феномен в таком случае интеллигент? — спросил Алдымов.

— Как на ваш слух, вот такое определение. Интеллигент — это человек, которому образование или чувство жизни позволяют предвидеть отрицательные последствия своих поступков и слов. Отрицательные в первую очередь не для него, во вторую, и для него тоже. Ничего больше!

— Не слишком ли широко?

— Но и понятие «интеллигент», «интеллигентность» достаточно широкое.

— А Кассандра?

— Предвидела, предупреждала, не послушали. Не Петр ли Струве в 1895 году в «Открытом письме Николаю Второму» писал: дело самодержавия проиграно, и оно в недалеком будущем падет. Было? И не один он это чувствовал. Тогда же кто-то из друзей Милюкова, отдавая должное талантам Павла Николаевича, пожелал ему стать «историком падения русской монархии». И это только начало царствования Николая. А дальше? Пожалуйста, Столыпин, он в 1911 году, когда полным ходом шла подготовка к войне, говорил: война будет фатальной для России и правящей династии. Совпадение? Велимир Хлебников предсказал 1917 год. Троцкий в 1909 году «прозревал отблеск нового победоносного Октября». Прогнозов

полно, их так много, они так разнообразны, в конце концов какой-то оказывается верным. Весь вопрос в том, как угадать, какой наиболее вероятен, пока события еще не наступили? Предупреждали государя? Предупреждали. Струве, Милуков, Столыпин, Толстой, наконец, Лев Николаевич... Но вместо того, чтобы хотя бы задуматься, самодержец бездумно штамповал противников режима. Вот вам и эффект Кассандры.

Саразкин замолчал, решив, что весь разговор не ко времени.

— Вы помянули Столыпина, — заговорил Алдымов. — Я тут же вспомнил Витте. Смотрите. Столыпин — монархист. Витте тоже монархист...

— Именно так, Алексей Кириллович, именно «тоже монархист». Не его ли оценка Николая: бесхарактерный, трусливый, двуличный?

— Но это уже после того, как его пожаловали в графья и отправили на покой. Тут у него не только царь, но и все окружение оказалось сплошь мошенники, идиоты и интриганы. И тем не менее по убеждениям-то монархист. Но я о другом. Какая неприязнь, какое противоборство между этими самыми влиятельными и деятельными представителями последнего царствования. Столыпин убежден, что Витте больше всего думает о себе и движет им в первую очередь мысль о личной выгоде, карьерный интерес, что омрачает, по мнению Столыпина, душу и парализует работу. И Витте в долгу не остается, о Столыпине говорит самым уничижительным словом. «Обмазанный с головы до ног русским либерализмом оратор губернских и земских собраний». А как ненавидели друг друга Плеве с Витте? Плеве для Витте был «полицейским карьеристом». А тот честил его «одесским полужидком». И все патриоты, и слуги престол-отечеству. Как же им в одной упряжке? И что в итоге? А возьмите Колчака и Деникина — по сути, то же самое. А может быть, как раз большевизм — это и есть отпор бесхребетной и захребетной власти, отпор либеральной фразе, социальному эгоизму власть имущих? Вот какие у меня появлялись соображения. Я стал, Дмитрий Сергеевич, безнадежным скептиком. «Реальность, данная нам в ощущениях!..» Да ощущения-то у нас от одной реальности разные! Ладно, в материальном мире, в системе естествознания факт, опыт — опора, фундамент знания. А в общественной жизни? Даже в истории? Факты — это мозаика, из которой я могу вам сложить любую картину. Революция — фатум для России? И да, и нет. Феномен русской революции грандиозен! Отказ от частной собственности — вот ее суть, вот эксперимент, какого мир еще не знал.

Встречаясь, они и раньше помногу разговаривали, но говорить о главном случалось нечасто.

— Вы знаете, Алексей Кириллович, я не певец частной собственности, материальные похоти и вожделения мне не понятны. Ну, а если трезво взглянуть на историческую картинку? Политическое содержание революции и культурная среда, в которой должна быть реализована идея, трагически не соответствуют друг другу. Крестьянское сознание не мыслит себя без частной собственности. Отсюда у власти и упор на пролетария. Тому действительно терять нечего. А крестьянства в стране восемьдесят процентов. Для него пролетарское сознание не органично, его навязывают. Принуждают верить в социализм как в новую религию. Мужики как говорят? Стоит стог и стоит, а покати его — рассыплется. Покатили крестьянский стог в социализм, где он теперь? Рассыпался по Заполярью, Сибири, по каналам и Магниткам... Все пороки частной собственности известны, но не известны пороки новой экономической системы, которая придет взамен. Частнособственнический уклад оказался как-никак саморегулирующимся. А новый породил жесткую систему регулирования. О чем мечтали леваки после прихода к власти большевиков? Политическую власть возьмет партия. Экономическую власть — профсоюзы. А за культурой будет безраздельно следить Пролеткульт. А на деле? Политическая власть у партии. Экономическая власть у партии. Культура под неусыпным

партийным оком. Где саморегулирование? — Саразкин, по привычке разглаживая ладонями перед собой скатерть, заметил ее несвежий вид, при Серафиме Прокофьевне такого быть не могло.

— Исторические формации не случайны, их рождение, уход не чья-то прихоть. Не помню, чья это мысль, но мне она запомнилась: социализм раскроет свое широчайшее нравственное содержание, заслоненное пока горячкой *основоположничества*. А горячка — вещь опасная, здесь и до пожара недалеко. Но главный, главный вопрос... Неужели собственничество — это альфа и омега человеческого существования? Листали мы тут недавно со Светозаром «Вокруг света», попалась очередная статья про Атлантиду. И вот о чем я подумал. Обычно города-призраки олицетворяли собой идеал, даже если это было воплощение сомнительной мечты о полнейшей свободе. Содом и Гоморра — вот уж где свобода так свобода! А Порт-Ройал на Ямайке — флибустьерский рай, разбойничья вольница. Только необузданная свобода оборачивалась каким-нибудь неслыханным безобразием. И всегда этим городам грозила опасность, они в конце концов погибали, исчезали, как призраки. И в реальности, и в мифологии. А почему? Все просто. Если достигнут идеал, так сказать, возделанный берег, каким бы он ни был, если вот она, осуществленная мечта, что дальше? Это что ж, уже соперничество с раем? То есть покушение на привилегии богов. Это почти кощунство. Вот и приходилось эти города сплавлять куда подальше, как правило, в воду. За что смывало или проваливались в тартарары нечестивые города, понятно. Но каждый уважающий себя народ должен иметь свою благословенную Атлантиду. У нас это град Китеж. У шведов — город-порт Винета. Что видим? Дамы, разумеется, в бархате и шелках, в золоте и драгоценных камнях, мужчины в одеждах, отороченных дорогими мехами, в беретах с перьями, вино только из золотых кубков, и даже дети, девочки, за прялками, конечно, с золотым веретенном. За что же они наказаны? Они всем довольны, никого не задирают, богов славят и благодарят, предков почитают, родителей слушаются. Но! Заметьте, непремненным атрибутом этих сказочных городов, городов мечты, было — богатство! И они сгнули. Дальше богатства мысль, мечта не шла. Это — тупик! И замечьте, ни один из городов-призраков, как их ни искали, не всплывал. Почему? Да потому что так угодно богам! Стало быть, не туда идете, не то строите, не к тому стремитесь.

— Но согласитесь, богатство открывает больше возможностей, в нем очень много привлекательного. Нищета унижает. Разве не богатство, в конце-то концов, делает человека свободным.

— Ах, Дмитрий Сергеевич, слышим мы этот тропарь, слышим... Только богатство не может быть идеалом, это мне ясно, как простая гамма. Обратите внимание. Богатство порождает жестокость. Простой пример. Быт древних греков был достаточно прост, неприхотлив. И городские рабы были у греков почти на положении членов семьи. А утопающий в роскоши Рим? Там раб — уже вещь. Смертью раба можно развлечься. Пройдитесь по нашей истории, богатство и жестокость растут вместе. Как разорвать этот союз? В социалистической идее есть основная правда, и я ее принимаю. Надо попробовать, обязательно попробовать жить без привязи к собственности. Увы, приходится оглядываться на нашу историю. Возьмите ту же картошку. Завезли ее к нам. Доброе дело. А как с ней обходиться, мужикам не скажали. А они только и знали горох, капусту да репу. Где эта картошка съедобна — сверху, снизу? И началось. Люди травились, умирали чуть не целыми деревнями. Начались бунты.

— Алексей Кириллович, но социализм все-таки не картошка...

— Не картошка, а вот методы внедрения, насаждения разве ничего не напоминают? То-то и оно... — Алексей Кириллович замолчал и тяжело вздохнул: Неужели вы полагаете, что такой грандиозный поворот в мировой истории, как отказ от ча-

стной собственности, может произойти одновременно и успешно? Представьте себе, Ленин, ни на секунду не сомневающийся в правоте своего дела, между прочим, писал о том, что представить себе всемирную историю идущей гладко вперед, без гигантских скачков назад недиалектично, ненаучно, даже теоретически неверно.

— Наверное, он имел в виду нэп?

— Боюсь, что нет. Речь как-никак идет о всемирной истории, а нэп — это тактика, ничего более. Стало быть, он допускал, что первый опыт может оказаться неудачным. Я, признаюсь, сам удивился, когда это прочитал.

— Ну что ж, идея действительно великая. Но великая идея требует великих исполнителей. Все легко опошлить, извратить...

— Разумеется. Но, как известно, пьяный поп не доказательство отсутствия Бога.

— А вот «гигантский скачок назад» — мысль действительно неожиданная. Это куда же? Таково ли наше прошлое, чтобы восстановлением его можно было осеменить нашу будущность?

— Вы, Дмитрий Сергеевич, в отшельничестве своем постигаете музыку сфер, с богами говорите, сделайте мне одолжение, скажите, Бога ради, почему интеллигенция у них всегда на подозрении, и у прежних, и у нынешних.

— Как сказал иезуит Иеремия Дренкиль: всякий, кто противится охоте на ведьм, недостоин имени христианина. Иезуитам никак без ведьм не обойтись, этак и власть не удержишь. Трудно сказать, Алексей Кириллович, почему интеллигенция всегда на подозрении. Я думал об этом, ни до чего хорошего не додумался. Интеллигенция по природе своей — идеологический конкурент власти. Она не может не вырабатывать вариантность путей истории. А всякая власть видит только один путь истории, собственно, даже не сам путь, а себя в качестве путеводителей. Возьмите Сталина. Его тактика донельзя проста и имеет в истории множество аналогов. Тратить бесконечные усилия на борьбу, дискуссии, споры, доказательства, убеждения, опровержения... Убрать работу осмысления жизни и отдалиться практическому делу, будь это завоевания, будь это строительство. Но что он построит!? Когда событие не по плечу, приходится прибегать к простым решениям, к стати, очень понятным массам.

— Без широкого исторического прогноза я не представляю себе не только политической деятельности, но и духовной жизни вообще. Способен ли пролетариат на широкий исторический прогноз, если пока еще у него и с грамотешкой проблемы.

— Прогноз, разумеется, нужен, только оглянемся немного и увидим, что все прогнозы в политике мало чего стоят. Хорошо. Ленин предвидел возможность «гигантского скачка назад». Когда он произойдет? В чем это проявится? Будет ли это одновременное событие, положим, заговор, контрреволюционный переворот, или «скачок» растянется на десятки лет?

— Я о другом. Дмитрий Сергеевич, давайте понимать исторический прогноз не как вещание пифии, а как основание для выработки программы практических действий, исходя из наличных сил и реальной политической ситуации.

— Как это было бы славно! Только любая власть прежде всего «прогнозирует» свою незыблемость и несомненность — вот основание, на котором они только все и строят...

— Мне последнее время казалось, что я живу под колпаком, из-под которого выкачан воздух. Я перестал слышать собственный голос и голоса вокруг... Нет, оказывается, еще могу слышать. — Алдымов улыбнулся и посмотрел на Саразкина. — Баста! С вами говорил бы и говорил, забыв стыд и совесть, вы же с дороги... — Алексей Кириллович стал убирать со стола. — Не хочу ничего оставлять. Хочу, чтобы было, как при Симе. Светик утром должен видеть стол чистым.

«Таким, как при Серафиме Прокофьевне, дом уже не будет», — заметил про себя Саразкин, оглядывая несвежую скатерть, рубашки на стуле, невытую тарелку на подоконнике — все приметы мужского общежития.

— Но на такой безнадежной ноте кончать разговор не гуманно, — собирая посуду, продолжил Алдымов. — Вам не кажется, что Россия никогда не бывает такой сильной, как ей кажется, и такой слабой, как кажется другим?

— Пожалуй, так оно и есть, — улыбнулся Саразкин.

— Почему об этом говорю? Читаю Соловьева. Что такое наша история? Сплошная цепь недоразумений, ошибок, бесконечные преступления... Цари, правители, за редким исключением, если не преступники, то горемыки. Но как же так, в результате-то сложилось, укрепилось и вторую тысячу лет существует, как ни крути, великое государство. Сколько за это время империй возникло и сгинуло? Значит, мы не видим чего-то, быть может, самого существенного в нашей истории. Преступления видим, насилие видим, алчность сильных мира сего, самодовольство властвующих ничтожеств, глупость, головотяпство, все при нас, но как же мы при этом дали миру Ломоносова, Достоевского, Толстого, Чайковского, Чехова, Менделеева, друга вашего отца Павлова Ивана Петровича? Стало быть, рядом с той, где преступления, насилие, самодовольство, идет другая жизнь, столь же реальная и не менее значимая. Даже более значимая жизнь духа, жизнь созидания. Почему мы не умеем ее видеть? А если и видим, то как-то узко, тематически...

— Крайне интересно! Действительно, Колчак и Ворошилов — одна Россия, Репин и Рахманинов — другая. Готов повесить свои уши на гвоздь внимания, — улыбнулся Саразкин.

— Завтра, завтра... Надеюсь, вы ни на один день?

## 16. ЗАГОВ ОРЩИКИ И ПОВ СТАНЦЫ

Вернувшись из Мурманска с четким планом операции, младший лейтенант Михайлов начал дело совершенно правильно. Что нужно для победы? Для победы нужно лишить противника армии. После этого уже не составит труда взять главарей, вождей и предводителей, как говорится, голыми руками. За плечами Ивана Михайловича была хорошая школа. Разве сразу ударили по «объединенному троцкистско-зиновьевскому центру»? Нет, не сразу. Сначала была ликвидирована «контрреволюционная группа Сафарова, Залуцкого и других», что вырывало почву из под ног «объединенного центра».

Начал Иван Михайлович с села Воронье, оно и поближе, чем Краснощелье, Поконьга, Семиостровье или Чалмны-Ваара. Он выписал пятерым оленеводам — Яковлеву, Курехину, Валтонену, Юрьеву и Осипову — повестки явиться к нему, райуполномоченному госбезопасности, имея при себе винтовки, боеприпасы и пятидневный запас еды.

Иван Михайлович рассудил здраво, пяти дней ему хватит и на то, чтобы повстанцев оформить и препроводить в Мурманск.

Но как водится, даже хорошо подготовленные и проработанные операции вдруг принимают самые неожиданные направления развития. А Иван Михайлович делал свое дело все-таки топорно, не обнаруживая потребного во всяком деле разума. Впрочем, постоянное чувство ордена на груди и большого предшествующего опыта за плечами позволяли ему быть преисполненным убеждения в особой тонкости исполнения своего государственного предназначения.

Все выглядело так, будто затевается охота на волков, дело обычное. Вызванных из Вороньей оленеводов немножко удивляло, что организатором этой охоты стал

начальник НКВД, да и приглашали по повестке, которую им принес и раздал под расписку милиционер Анисим Балышев, а не нарочный из райисполкома, как бывало.

Трое из пяти знали только, как ставить три буквы, а двое расписались полностью, хотя корявые подписи заняли в три раза больше места, отведенного для расписки в «разносной тетради», по сути-то, завернутой в газету амбарной книге, прошнурованной и скрепленной на шнуровке сургучной печатью.

Где ж им было знать, что большой начальник решил «поднять их на воздух», так сказать, отправить на Второе небо, где живут «альм-олмынч», те, кто земное отжил...

Оставшись наконец-то одни и обсудив между собой такой необычный вызов, саамы решили, что у начальника стало мало работы, решил поохотиться, тем более что не раз видели Михайлова с охотничьим ружьем, промышлявшего зимой, как только стало появляться солнце, полярных куропаток и даже выезжавшего за песцами.

А раз предписано взять винтовки, стало быть, охота будет на волков. Для того и полагалось испокон веку боевое оружие оленеводам, что против волка да еще в тундре с охотничьим ружьем делать нечего. Собаки, конечно, хорошо охраняют оленьи стада, но без винтовок никак нельзя, от охотничьих ружей здесь толку мало, в тундре волка из них не достанешь.

Вооружение оленеводов блистало разнообразием. Здесь можно было встретить и доставшиеся от интервентов немецкие винтовки «маузера», и английские «лебеля», и наши трехлинейки, но не новые, «дробь-тридцатые», уже поступившие в охранные войска, а старые, образца девяносто первого года. У Курехина, к примеру, и вовсе было однозарядное изобретение американца Бердана, усовершенствованное русским инженером Горловым, из тех, что состояли на вооружении русской армии в русско-турецкую войну.

Вся компания прибыла в Ловозеро на оленях, прямо к бревенчатому бараку, половину которого занимал райотдел НКВД. Олени, разгоряченные легким бегом, шумно дышали, скидывали головы с опиленными с одной стороны рогами, чтобы в упряжке не цеплять соседа. Олени перебирали ногами, с брезгливой гримасой мягких губ хрипло порхали, словно у них першило в горле от невысказанного недовольствия, вот и не могли никак отхаркаться.

Прибывших вышел встречать, в меховой душегреечке без рукавов поверх гимнастерки, сам Михайлов.

Прямо на улице, не глядя прибывшим в глаза, собрал у них винтовки и передал милиционеру Анисиму Балышеву, который две винтовки повесил себе на плечи, а три взял в охапку и унес в райотдел, как дрова. Вскоре Балышев вышел снова и повел всех по коридору в конец, где за двойной дверью была небольшая комната с тремя лавками вдоль стен. Перед тем как запустить арестантов в камеру, снял у всех с пояса ножи, без которых лопарь никуда из дома не отправляется. В арестантской лавки из тяжелых плах были сделаны с умом, у них был такой наклон от стены к середине помещения, что лежать на них было невозможно. А сидеть можно было, но с некоторым усилием. Чтобы не соскользнуть с этой косою лавки, следовало или упираться ногами в пол и прижиматься спиной к стене, или сидеть, согнувшись пополам, но тогда нужно было упираться руками в колени. Вот так, полусидя, и поспать можно было. Все продумано. Рассчитывать на сознательность обитателей этого помещения не приходилось. Один придет и разляжется, остальным что ж, стоять? А так все могут пребывать здесь с каким-никаким удобством. Клеть эта была сильно прокурена. К махорочному смраду примешивался запах пота, мочи и сырой овчины. Одно окно, выходившее на улицу, было забрано двойной решеткой, второе, поменьше, над дверью, тоже зарешеченное, выходило в коридор, откуда в камеру попадало немного света от висевшей в коридоре керосиновой лампы, так что комната в короткий зимний день была погружена в полумрак.

Электростанцию, согласно плану, должны были пустить в этом году, в тридцать восьмом, и пустят, только кому она будет светить, а кому уже ничего светить не будет.

А пока свет в арестантской был тусклый, керосиновый. Народу в захолустном узилище до прибытия саамского пополнения было немного — семь человек. На покатых лавках не лежишь, да и сидеть в напряжении было утомительно, поэтому привыкшие к кочевью русские мужики побросали на пол свои овчинные шубы, кто-то угнездил под голову подшитые валенки, приготовившись к ожиданию приглашения для разбора дела.

Вновь прибывших приветствовали сдержанными шутками, дескать, как же это вас-то угораздило, небось оленей колхозных поперли, но скоро старожилы скромного узилища вернулись к прерванному разговору, к которому назначенные в повстанцы саамы, бесшумно устраиваясь на новом месте, прислушались с интересом.

На каждого из призванных к предварительному следствию у Ивана Михайловича имелись неопровержимые доказательства если не прямого участия в повстанческо-террористической саамской организации, то, по крайней мере, готовности в нее вступить и при необходимости поддержать с оружием в руках. Так сказать, «затаившиеся изменники».

Так, к примеру, саам Юрьев, Николай Иванович, 1882 года рождения, служил в английской контрразведке, что не скрывал и даже немножко этим хвастался. И сейчас, еще ни о чем не догадываясь, дремал в арестантской в ожидании предстоящей беседы. Служба у англичан ставила его среди сородичей и земляков в особенное положение, сообщала его личности и биографии международный оттенок. Вот и тужурка, которой он в летнее время пользовался, несмотря на свою крайнюю потрепанность, неоднородность двух рядов пуговиц и обширные пятна то ли от оленьего жира, поиды, то ли от тюленьей ворвани, при ближайшем рассмотрении напоминала-таки шинель английского интервента. Какому роду оружия принадлежал этот пострадавший от времени наряд, установить, конечно, можно было бы, но таких специалистов ни в Ловозере, ни на Кильдинском погосте не было.

Чтобы вообразить причастность прирожденного лопаря в качестве доверенного лица к деликатной деятельности джентльменов из английской контрразведки, требовалось какого-то рода особое вдохновение. Но младшего лейтенанта Михайлова тоже можно понять, выбор у него был, прямо скажем, невелик.

А Юрьев проживал в незабываемом 1919 году на погосте Кильдин, что южнее Мурманска километров на десять, и служил там во время англо-американо-французской интервенции почтальоном. Выполнял ли он при этом доверительные поручения иноземных контрразведчиков или нет, кто ж теперь знает.

Знали другое. В почтовой конторе, что в Коле, что на Кильдине, к письму частенько прилагалась лодка или оленья упряжка. Так что Юрьев был не совсем что-бы почтальоном, скорее, по нашим понятиям, ямщиком да лодочником при почте.

А настоящему следователю куртка, перешитая из английской шинели, говорила о многом. Так что при желании можно было бы предъявить Николаю Ивановичу как сообщнику и коллаборационисту счет за все пограбленное и вывезенное из Мурманского края англичанами, американцами и французами в ходе их исторической миссии в 1919 году. За время все-таки сравнительно непродолжительной экспедиции имеющие богатый опыт работы в колониях англичане увезли груз в один миллион сто семьдесят три тысячи пудов, это на сумму два миллиона семьсот две тысячи полновесных фунтов стерлингов. Французы тоже не зедали, прихватили полмиллиона пудов, на сумму восемьсот двадцать одну тысячу фунтов. Английский груз получился почти по два с половиной фунта за пуд, у французов подешевле — по полтора фунта. Надо уметь! Американцы прихватили, надо думать, то, что осталось от европейских братьев по оружию, а может, им просто везти да-

леко. Взяли триста пятьдесят три тысячи пудов разного добра, с тем и отчалили. Откуда цифры? Кто считал? Да они сами и считали, отчеты, составленные о результатах своей исторической помощи России, публиковали наравне с победными рапортами. Союзники как-никак, какие могут быть тайны.

Вот такой урок защиты демократии и свободы. Обучение платное.

У Ивана Михайловича не было никаких документальных или свидетельских подтверждений службы Николая Ивановича в контрразведке английских интервентов. Он даже допускал в глубине своего дальновидного сознания, что, может быть, Николай Иванович и подвирает, чтобы придать себе значительности, но за куртку английского покроя зацепился крепко.

Относительно характера лопарей встречаются разные точки зрения. И это легко объяснимо. Как любой язык испытывает на себе влияние живущих бок о бок племен, так и характер норвежских, финских или шведских лопарей не прямо, конечно, но косвенно зависит от того, как складывались отношения малого мирного народа с теснившими его народами воинственными и большими. Вот и показались скандинавские лопари изучавшему их Кастрену угрюмыми, ленивыми и забитыми. А вот Иоанну Готлибу Георги лопари показались, напротив, миролюбивыми, приветливыми, верными в слове, веселыми, не склонными к воровству, правда, в торгах немножко плутоватыми, ну что ж, вот вам и неизбежная дань общению с людьми наживы, не оставляющими своим вниманием и самых дальних уголков земли. Природные же качества — доброжелательность, гостеприимство, услужливость, честность в серьезных делах, твердость в исполнении слова — сохранились в саамах как раз Лапландии, центральной и восточной частях Кольского полуострова, где древнейшее население Заполярья многие века было предоставлено самому себе, и ни дурных, ни добрых примеров иной жизни перед собой не имело.

Вот и Юрьев, Николай Иванович, вобрал в себя в наибольшей мере два качества своего народа — это веселость и упрямство. Однажды, скорее всего шутки ради, возведя себя в ранг английского контрразведчика, он уже не мог отказаться от этой роли, имевшей, надо думать, немалый успех у доверчивой публики.

И если шутка с английской контрразведкой среди своих Николаю Ивановичу долго сходилась с рук, то с НКВД шутки плохи и даром пройти не могли.

Должен был держать в конце-то концов ответ и ижемец Осипов, 1881 года рождения, проживавший в 1920 году в деревне Чалмны-Ваара, что значит Черный Глаз, и в ту пору примыкавший там к меньшевикам, уже к середине тридцатых годов повсеместно и успешно разоблаченным и разгромленным организационно и физически. Как уж он там примыкал, не особенно отягощенный своим низшим образованием, но обремененный семьей в двенадцать человек, нынче и сам Яков Игнатьевич, пожалуй, и не мог бы вспомнить. Но вывернуться ему не удалось, поскольку копия меньшевистской резолюции, принятой 15 июля 1920 года на сходе в деревне Чалмны-Ваара, у Ивана Михайловича имелась, не зря же он ездил в Мурманск и беседовал с товарищем по оружию, начальником четвертого отдела окружотдела НКВД сержантом Шитиковым.

Яковлев, Григорий Григорьевич, 1879 года рождения, саам, пастух, а человек грамотный. В трезвом виде не проявлял ненависти к русским и даже разъяснял местным жителям новые порядки жизни и равенство разных народов, живущих вместе. А при выпивке всячески обвинял русских: зачем, дескать, они пришли командовать саамами? Саамам, дескать, нужна вольная кочующая жизнь, а русские хотят, чтобы они жили по русским порядкам, кроме оленей и охоты, заставляют заниматься коровами, молоком, сажать картошку и репу. А чем кормить эту корову, если нет в тундре ни лугов для выпаса, ни сенокосов для запасов зимнего корма? Какой урожай ждать от зарытой в землю картошки, если не хватает ей короткого лета, чтобы вызреть? А главное, Яковлев возражал насчет нового ручного вы-

паса оленьих стад. Это уже активное противодействие политике партии и Советского государства. Прямое дело государственной безопасности.

Фрол Валтонен хотя и был малограмотным и имел девять детей возрастом от двадцати пяти до одного года, а в 1929 году избил комсомольца Озерова Евгения и был осужден на полтора года, вот тебе и малограмотный. С этим тоже все было просто и ясно, такие как раз и составляют резерв повстанческо-террористического движения.

Озеров Евгений тоже будет привлечен как террорист и заговорщик и будет отправлен к старшему лейтенанту Поликарпову в Ленинград.

## 17. ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ

О, если бы Иван Михайлович Михайлов знал, что из тридцати семи вычисленных им для обвинения в саамском заговоре жителей Краснощелья, Чалмны-Ваара, Поконьги, Ловозера, Семиозерья и Вороньей окажется целых шесть человек безнадежных, с которыми не было никакой возможности найти общий язык и выйти на суд,

Намучившись, конечно сгоряча, младший лейтенант Михайлов шестерых просто прогнал в шею.

Да, в повстанческо-террористическую организацию Ивану Михайловичу Михайлову удалось-таки наскрести тридцать семь человек. А вот шестерых из них, однако, пришлось, как доложено выше, просто отпустить и судебное преследование прекратить. Эти шестеро — четверо саамов, один ижемец и один финн — хотя немного понимали по-русски, но никак не могли взять в толк, просто не могли понять, о чем говорит младший лейтенант госбезопасности Иван Михайлович, чего от них хочет. К ним и особые методы дознания, рекомендованные в свое время московским руководством самых высоких инстанций, применять было бессмысленно. Выходить с такими на суд смешно. Особое совещание, конечно, не совсем суд, но не хотелось перед ленинградскими коллегами ударить в грязь лицом и бросать тень на свою работу, а эти могут подорвать доверие ко всему следствию.

Были и такие, что говорят вроде и по-русски, а разговор все равно словно на разных языках. Был один старовер из поморов, ох и поморочил Ивану Михайловичу голову. Он ему про повстанческую организацию, а тот сидит, только головой качает, а смотрит куда-то мимо Ивана Михайловича, словно его и нет в кабинете. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» — кричит Иван Михайлович. А в ответ слышит прямо поповский какой-то разговор: «Не от себя говоришь, а по наущению злобы...» И смотрит, как слепой, не видит Ивана Михайловича, словно с духом незримым разговаривает. Его о связях, о вожаках спрашивают, а он знай свое: «Пошто волочешь на горбе своем злость вселенскую? Устал ты, отдохнуть бы тебе. Злоба много силы отбирает». Что прикажете в протокол заносить? Он ему «финского шпиона», а в ответ: «Сколотыш ты на родной своей земле...» За «сколотыша», хоть и не очень понял, что это, но, судя по всему, слово обидное, пару плюх поднес, а тот только утерся, хотя, косая сажень в плечах, мог бы и соплей Ивана Михайловича перешибить. Погорячился Иван Михайлович, не рассчитал и больно расшиб костяшки правого кулака о твердую, как булыга, голову упрямого, с виду даже немного сонного мужика. Иван Михайлович вернулся на стул и потряс ушибленной рукой под столом. «Озорной ты, как погляжу, — спокойно сказал кандидат в заговорщики, сказал даже без укоризны, только посмотрел не на Ивана Михайловича, а в пустой угол и, осенив себя двумя перстами, проговорил вроде и не к месту: —

Владычица, уврачуй души моей многолетние страсти». Его по делу спрашивают, а в ответ: «Вижу, потеху ты затеял, ну, потешься, потешься... Сутырный ты, как посмотри...» Говорил неспешно, тяжело, словно камни ворочал, а сам так ни разу на него и не взглянул, будто перед ним не человек, а какое-то срамное место. А главное, страха ни в одном глазу. «Чего исхитряешься, нету во мне для тебя поживы». И, скорее всего, оттого, что подследственный смотрел все время куда-то мимо, Ивану Михайловичу стало казаться, что в кабинете есть еще кто-то, кого он не видит, но для кого говорит свои слова этот дремучий лысый мужик с остатками волос на загривке да за ушами. Таких отпускать нельзя.

Люди старого обряда для следствия что суковатое полено для топора, с какой стороны ни бей, умаешься, пока расколешь. Ведь они как здороваются, не «здрасьте-привет», а наособицу, как пять сотен лет назад. «Господь среди нас», — кланяется один. «Есть и пребудет», — подтверждает другой. Так что получается, что втроем они всегда, о чем оба помнят. Если бы Иван Михайлович знал это приветствие, может быть, и бросил бы взгляд себе за спину, чтобы увидеть то, что всегда видел сидящий перед ним подследственный. Впрочем, ничего, кроме портрета Михаила Ивановича Калинина, Иван Михайлович бы не увидел.

А вот, к примеру, другой подследственный, православный саам Курехин, Сальма Нестерович, 1883 года рождения, хоть и неграмотный, да оказался крепким орехом, тоже пришлось попотеть, и все равно вышла осечка.

Протоколы можно трясти сколько угодно, и все равно не узнаешь, что спасло отца девяти детей от окончательной поездки в Ленинград, а спасла Сальму Нестеровича, скорее всего, прирожденная смешливость.

Жизнь его сложилась так счастливо, что он понимал всех вокруг и все вокруг понимали его. А то, что было ему не очень понятно, например, та же метеорология, занимающая целый дом и двор в Ловозере, так это незнание не доставляло ни ему, ни окружающим никакого беспокойства и никак не усложняло жизнь. Он видел, что русские одеваются не так, как саамы, живут в душных домах, а не в продуваемых ветерком вежах и тупах, ездят на лошадях, не умеющих бегать по снегу, а не на оленях, но это его нисколько не беспокоило, как не беспокоило, почему куропатка спит, зарывшись в снег, а белка на дереве.

Он понимал куропатку и понимал белку и был уверен, что и они его понимают. Скорее, это было не совсем понимание, это было доверие, доверие разуму куропатки, которая знает, что делает, доверие и белке, которая тоже лучше его, саама, знает, где ей ночевать и как выводить своих детенышей. Он доверял этому миру, верил в его мудрое устройство и был убежден в том, что и куропатка, и белка так же понимают и его, немолодого саама, и так же ему доверяют. Когда он накидывал аркан на шею избранного к закланию оленя, он улыбался и не верил, что упирающийся олень не хочет стать радостью для его семьи. Олень упирается точно так же, как толкает в грудь, упирается девушка, хотя хочет того же, чего хочет и сам веселый Сальма Нестерович. Он смеялся, когда стискивал в своих объятиях девушку, и смеялся, когда выбирал в стаде хорошего зрелого быка для домашнего пира.

— Не сердись, большой начальник, — сказал подследственный Курехин через пятьдесят минут допроса. Он чуть склонил к плечу голову, торчащую из круглого мехового воротника, как из спасательного круга, сощурил свои и без того узкие глазки и с хитрецей улыбнулся. — Отдай мне винтовку, и я пойду домой. Погода плохой. Охота не будет.

Воротник печока был из шкуры росомахи, на ней не оседает иней. Реденькая, как у всех старых саамов, борода подследственного смешивалась с меховым воротником. Седого, а тем более лысого саама не встретишь, а проседь если и пробивается в волосах, так только после пятидесяти.

И если бы у Сальмы Нестеровича не просвечивала застрявшим и забытым растаять мелким снегом редкая седина на висках, его и вовсе можно было бы за малый рост и простодушную улыбку принять за подростка.

Весь подследственный так был упакован в олени и еще черт знает какие шкуры, что бить его можно было хоть оглоблей и ничего не выбить. Можно было выбить зубы, но смеющийся рот смотрел на Ивана Михайловича какими-то остатками редких полугнилых пеньков, да и обветренное, изрезанное морщинами округлое лицо, то ли прокоптившееся в дымной тупе, то ли не потерявшее загару за зиму, казалось выкованным из меди.

Тут любой на месте Ивана Михайловича не выдержал бы, не выдержал и Иван Михайлович. Он достал наган и дважды грохнул рукояткой по столу, да так, что с двухтумбового письменного стола со светлой столешницей, крытой в середине черным дерматином, чуть не слетел массивный чернильный прибор из яшмы, в свое время конфискованный его предшественником у ижемца купца Терентьева, того, что завел в Ловозере замшевую фабрику. Чернильным прибором был купчина вознагражден от епархиального управления, посилено упреждавшего воздаяние небесное, за то, что Терентьев заготовил и доставил четыреста бревен на строительство новой церкви, когда Богоявленская в Ловозере сгорела.

Ни один мускул не дрогнул на обожженном морозом и помятом ветрами лице Сальмы Нестеровича, впрочем, выражение лица было не столько удивленное, сколько выжидательное.

«Зачем наган стучал? — спрашивал себя подследственный, уставившись прищуренными глазами в лицо следователя. — Зачем слова не говорил? Медведя понимал. Белку понимал. Начальника не понимал».

Сальма Нестерович был полон желания помочь сердитому начальнику и не знал, как это сделать.

Иван Михайлович обычно после ударов наганом по столу приходил в такой азарт, что переход к «особым методам дознания» был легким и естественным. Но что-то сдерживало его порыв. И он знал это «что-то». Он видел, видел устремленный на него взгляд. В нем не было той уверенности разного рода начальников, которых приходилось обламывать на допросе. Не было ни злобы, ни страха, ни тупой безнадежности, предвестника скорого и благополучного конца допроса...

«Да может ли этого чурбака что-нибудь напугать?!» — усомнился выдавший виды офицер госбезопасности.

В устремленных на него внимательных глазах, в легком наклоне головы, в сосредоточенности и внимании было столько участия... Вместо страха – внимание, вместо желания спастись – сочувствие. И без тени укора. Да, Ивану Михайловичу случалось, и не раз, слышать от поднимающегося с пола подследственного жалкие слова: «Что же вы делаете?»

А ведь именно этот вопрос больше всего и занимал Сальму Нестеровича, но не в плане укоризны, а в самом прямом. За долгую жизнь он встречал разных людей, и знакомство начиналось с ответа на вопрос: «Что делаешь?» Рыбак. Понятно. Охотник. Понятно. Врач. Продавец. Милиционер. Тоже понятно. Начальник в исполнении говорит «можно», говорит «нельзя». Понятно. «Что делает сердитый начальник? Непонятно...»

Бубен пританцовывающего и припадающего с одной ноги на другую нойда был для саама Курехина куда понятней, чем слова сердитого начальника в военной гимнастерке, из-под расстегнутого ворота которой выглядывал поддетый свитер. У шамана-нойда тоже была подвеска-звезда, но Сальма Нестерович знал, для чего она. Она может освещать путь, если вдруг нойда попадет в Нижний мир, без этой звезды в Верхний мир не подняться. У сердитого начальника тоже была звезда, над карманом военной рубахи. Углы звезды были пунцовыми, словно налитыми

брусничным соком, очень красивая звезда, но куда она ведет или откуда может вывести, подследственный Курехин не знал, но был уверен, что сердитый начальник об этом знает точно. Хотел спросить, улыбался и выжидал подходящий момент.

Старый саам знал много, он знал, как найти под Полярной звездой вход в Верхний мир, знал, что туда можно попасть через дым очага и при помощи духа птицы, знал, где живет священный олень Мяндаша, но, как ни силился, не мог понять, где, в каком стане обитают «постанцы», о которых говорит военный человек-начальник.

Единственное, что понял старик из сказанного военным начальником, рассмешило его до слез. Кто-то сказал начальнику, что он, Курехин, Сальма Нестерович, саам из становища Воронье, хотел поджечь тундру, сжечь ягель и уморить всех оленей с голоду. Он хохотал, покачивая головой, приоткрывал слезящиеся от смеха глаза и видел хотя и сердитое, но чуть растерянное лицо начальника, видимо, понимающего, что ошибочно сказал что-то смешное.

— Ноо!.. Тундра мокрый, — отсмеявшись и вытерев меховым рукавом своего пещока лицо, сказал подследственный Курехин. — Вода как горит? Не горит вода! Ноо!.. Йиммель-айа не может поджечь тундру. — Саамы любят вставлять это универсальное и бессмысленное «ноо» в любую фразу, как в наше время стало модным заключать в разговоре чуть не каждую фразу бессмысленным вопросительным «Да?», наследие какого-то адвокатишки из «Жизни Клим Самгина». А вот кто занес это бессмысленное «ноо» в чистую речь саамов, едва ли удастся установить. В этом словечке и удивление, и восхищение, и недоумение, и предварение возражения, и все что угодно, вроде новомодных «блин!», «вау!» или старомодного «ну, ты даешь!».

И снова не поняли друг друга деловой следователь и легкомысленный подследственный. Уполномоченный госбезопасности поставил рядом тундру и ягель в явном намерении усугубить обвинение, а получилось наоборот. Услышав о намерении поджечь тундру, саам рассмеялся. Если бы сказано было только про ягель, то ему было бы не до смеха. Ягель, как известно, растет на сухих возвышенных местах, хоть и в лесу, хоть на горах, хоть на ровном месте. А раз место сухое, почему бы и не поджечь? А как поджечь тундру?

Ну что ж, были, были ошибки и в работе даже более опытных сотрудников, а Иван Михайлович, вот вам наглядный пример, работал без должного разума. Ну, да Бог ему судья.

— Иммель-айа? — переспросил младший лейтенант Михайлов, заинтересовавшись тем, кто мог бы поджечь тундру, и, пододвинув лист бумаги, сделал карандашом заметку. — Где живет?

Старик знал, что Йиммель-айа живет на Седьмом, Медовом, небе, знал, что попасть туда можно только пройдя через небеса сначала Голубичное, потом Ресничное, после уже Вересковое, затем Заячье, Морошковое и Аметистовое, а там уже будет и Медовое. Он знал, что Йиммель-айа повелевает всеми другими божествами: Воздушными, Огненными, Земными, Водными, Домашними и Зверинными. Он повелевает всеми и ни перед кем не держит ответа, он гордый, он знает все тайны, но даже Йиммель-айа не может поджечь тундру. Неужели о том, что знают все малые дети на любом становище, в любом селении, не знает такой большой начальник, украсивший себя звездой?

— Повторяю вопрос: где живет этот Йемель? — взглянув в бумажку, грозно произнес младший лейтенант госбезопасности.

— Высоко живет, — загадочно улыбнулся Курехин, услышав вопрос военного человека, — на Медовом небе живет. Ты людям начальник. Он всем богам начальник.

От радости посвящения нового человека в свою жизнь и веру старик рассмеялся.

«Дикари. Вот и имей с ними серьезное дело!» — сдержал вздох и резко отодвинул от себя пустые листы протокола распаренный, уставший от этого так, по существу, и не начавшегося допроса Иван Михайлович.

Курехин поерзал на тяжелом табурете, служившем Ивану Михайловичу средством вразумления непонятливых собеседников, и снова замер, положив на колени, упрятанные в высокие сапоги-тобурки, узловатые кисти рук, знающие вечный труд бедности. Он прислушался и угадал за окном подвывание Цяки, собачонки, увязавшейся за ним из Вороньей. Вот уже какой день она никуда далеко не уходила от милиции, демонстрируя несомненную готовность разделить судьбу хозяина.

И вот таких, как этот Курехин, у Ивана Михайловича набралось шесть душ.

Бился с ними неделю, а потом плюнул, время стало поджимать, порвал заготовленные протоколы и выгнал их к чертовой матери, лишь пожалев о напрасно потраченных нервах и времени.

Так ведь Курехин, Сальма Нестерович, еще и уходить не хотел, все пытался понять, зачем его так долго держали в душном, но теплом, по сравнению не только с его летней вежей, но и зимним тупом, помещении. Кормили не густо, но бесплатно, кормили рыбой, кашей, давали настоящий печеный хлеб и не загружали никакой работой. Не считать же работой расчистку снега вокруг милиции. Двойная решетка на окне, и какая-никакая охрана напоминала загон, напоминала клетку, но Сальма Нестерович за последние годы отчасти и привык к тому, что не все понимает в новой жизни, но пока что ничего худого от новой власти не видел. Да и власть была представлена на дальних погостах в большинстве своем знакомыми лицами.

Имея девять детей, Сальма Нестерович, надо думать, хотел им по возвращении в свою тупу в становище на реке Вороньей рассказать, по какому важному государственному делу он был приглашен и чем он занимался вдали от семьи. К общей печали, рассказывать особенно было не о чем. «Начальника огорчал. Начальник сильно сердился. Постанчески говорил. А чего постанчески не говорил. — Сальма Нестерович обнял прижавшихся к нему малышей. — Учиться надо. Будете учиться, будете начальника понимать. Начальник не будет сердиться».

Когда Иван Михайлович увидел, как катастрофически тают ряды заговорщиков и повстанцев, он после долгой бессонной ночи нашел выход, который особенно-то и искать не надо, за плечами был как-никак серьезный опыт.

Теперь, задавая вопросы, он писал в протоколе все, что нужно было для сурового обвинения, а зачитывал подследственным, не умевшим не то чтобы разобрать его почерк, но и заголовки-то в газете с трудом читавшим, как бы те показания, которые они давали ему в ходе допроса. Выслушав зачитанное, подследственные, кто как умел, скрепляли листы допроса своими подписями-закорючками, после чего они приобретали непреклонную юридическую силу.

Забуксовавшее было следствие, едва не сорвавшее раскрытие саамского заговора, пошло как по смазанным ворванью горбылям.

Суд Особого совещания, в конце концов, тем и хорош, что на нем судебного следствия не проводят, и прения сторон не допускаются.

## 18. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ФОРМИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Если заговор организуется с целью не просто захвата власти, а создания обширного государства, то совершенно логично предположить, что, кроме главы будущего правительства, должны быть уже заранее определены и будущие члены правительства.

Алдымов — президент, здесь все ясно. Он один знает всех, кто будет вовлечен в заговор, он же и готовит свое будущее правительство. Сам же, будучи двадцати одного года от роду, то есть человеком зрелым и отвечающим за свои поступки, Алдымов в 1904–1906 годах примыкал к эсдекам и поддерживал меньшевистское крыло в РСДРП, о чем рассказал однажды почти со смехом. Такие признания добровольные помощники органов сообщают в надлежащем порядке. Записывать тут же неосторожные высказывания не принято, поэтому частенько в донесениях появляются ошибки, так в рассказе о меньшевистском прошлом Алдымова А. К. 1905 год превратился в 1925-й. С этой ошибкой донос и был принят к сведению младшим лейтенантом Михайловым.

Для начала неплохо, но первое время у Ивана Михайловича, задумавшего предотвращение восстания саамов и войны за независимость, никого, кроме будущего президента, в наличии не было.

Выбор у товарища Михайлова был небольшим, даже вовсе никакого выбора не было. Однако упорный труд, изучение ловозерских кадров и некоторые навыки, полученные за годы работы, помогли найти решение.

Можно даже сказать, что временами судьба шла навстречу младшему лейтенанту Михайлову, ему просто везло.

Вторая личность в правительстве — это, конечно, военный министр. В ловозерских тундрах, в селении Краснощелье, спрятав свое прошлое и никого не посвящая в планы на будущее, жил Дмитрий Сергеевич Саразкин. сын третьего и последнего министра просвещения во Временном правительстве Керенского.

Отец Дмитрия Сергеевича был человеком замечательным, с четвертого курса физико-математического факультета столичного университета был выслан за участие в студенческих кружках. После ссылки учиться в столицы не пустили, тогда отправился на юг, окончил сначала естественный факультет в Киевском университете, а потом и медицинский факультет там же. Уроженец села Дошатовое из владимирской глубинки, никогда не забывал о своих корнях, что и запечатлел в дарственной надписи на своем труде, поднесенном академику Ивану Петровичу Павлову в день его юбилея. На шмуцтитуле «Судьбы фениоломочевины и оксалиновой кислоты в организме собаки» значилось: «...от Владимирского мужика Саразкина Сергея сына Петрова».

А вот зачем бы сыну профессора, выпускнику Петроградского университета, забираться в такую глушь? Да не иначе как прятаться.

Нет, от прошлого своего не спрячешься! Было дело, командовал Дмитрий Сергеевич Саразкин ротой в колчаковской армии. Чем не кандидат в военные министры?

Оказавшись в колчаковской армии, Саразкин не испытывал к Верховному правителю ни уважения, ни доверия, прежде всего как к военачальнику. Недаром же офицеры вспоминали адмирала Посьета, при Александре Третьем ставшего министром путей сообщения, злосчастливым министром. Именно при Посьете количество железнодорожных катастроф росло непомерно. А осенью 1888 года на перегоне между Лозовой и Харьковом под откос полетел царский поезд, погибли люди,

тридцать шесть человек. Царская семья и сам император с наследником с грехом пополам благополучно выбрались из-под обломков. Благополучно пережил катастрофу и министр адмирал Посьет. «Если наш адмирал будет таким же полководцем, как адмирал Посьет железнодорожником...» — вздыхали в минуту откровенности сослуживцы Саразкина.

Полководческой славы за Колчаком не было, а его военно-морские «успехи» были у всех на памяти.

Под блистательным командованием Колчака Черноморский флот понес самые большие потери за всю войну. За гибель не в бою, а просто на севастопольском рейде флагмана флота, линкора «Императрица Мария» новоиспеченный адмирал был отдан под суд. Морской министр Григорьев еле уговорил государя императора отложить суд до окончания войны. Ни на Каме, ни на Волге адмирал своей славы не преумножил. И на суше воевал не так чтобы успешно, даже совсем неуспешно, до Клязьмы и Москвы-реки так и не дошел. Зато в тылу наводил порядок. Разогнал хранивший остатки легитимной власти КомУч, кого надо расстрелял, на время расстрела прихворнул, на всякий случай, чтобы потомки о нем худо не подумали. Опять же, честь, дворянин, белый мундир адмирала и все такое... С людьмишками не церемонился, кого надо перевешал, менее виновных перепорол, явив себя настоящим военным диктатором Урала, Сибири и Дальнего Востока и вообще Верховным правителем России. А уже в 1920 году армию всесторонне блестящего адмирала и сурового диктатора темные, не знающие своего счастья поротые мужики разбили в прах. Саразкина взяли в плен с тысячами таких же, призванных омским правителем всея Руси под ружье. Бывшего командира роты, не найдя на нем никаких особенных подвигов во славу белого дела, продержали год в концлагере, а потом выпустили на все четыре стороны.

Дмитрий Сергеевич, человек совсем не воинственный, как-никак сын министра просвещения, такого насмотрелся за время службы под знаменами Колчака, что дальновидно выбрал сторону, противоположную от мест, где пришлось хлебнуть шилом патоки, а человеку с его-то профессией, геоботанику, во всякой земле рады, вот и двинул из Сибири на Мурман...

Существование, близкое к первобытному, окружало в Краснощелье двадцативосьмилетнего выпускника столичного университета, избравшего жизнь пусть и не очень разнообразную, но устойчивую, среди людей приветливых и беззлобных.

Не было у Дмитрия Сергеевича особенных иллюзий и относительно «мирного строительства», объявленного по окончании Гражданской войны, уж больно любили военную и полувоенную форму новые вожди. Видел бывший командир роты, как у нового вождя легко, в мгновение ока бывшие соратники и сторонники становятся врагами и как он с ними сурово обходится.

Всякий раз, наезжая в Краснощелье, Алексей Кириллович Алдымов уговаривал Дмитрия Сергеевича Саразкина перебраться в Мурманск, где немалые географические, картографические, селекционные и агрономические познания всеми забытого командира колчаковской роты могли найти благодатное применение. «Сам я отсюда, любезнейший Алексей Кириллович, никуда не поеду, разве что отвезут», — грустно шутил Саразкин. И отвезли. Михайлов послал за ним сержанта Шкотова, и тот привез.

Нет, не даст отсидеться затаившемуся и в Краснощелье врагу младший лейтенант Михайлов. Он и помощника будущего военного министра вычислил. В помощники Саразкину был определен Иван Иванович Артиев, служивший в 1904–1905 годах в царском военно-морском флоте прямо в Кронштадте. В чинах небольших, в основном на складе, в интендантской службе, но это уже значения не имело, хорошо, хоть такой воин сыскался. И то, что пятидесятилетний отставной

моряк из вещевого склада учительствовал, помехой для занятия боевой должности служить не могло. Так, сам, естественно, того не ведая, стал тишайший Иван Иванович «товарищем» военного министра, как при старом режиме именовались заместители. Разумеется, в своей повстанческой деятельности Артиев, Иван Иванович, должен был на кого-то опираться при осуществлении своих далеко идущих замыслов, и опоры эту далеко искать не надо, вот же трое родных братьев: Александр, Викентий и Федор. К ним же еще подверстал Иван Михайлович их односельчанина из Ивановки, Егора Канева. Не то чтобы хорошо смотрелся на какой-нибудь правительственный пост, а по простому рассуждению, если уж ехать в эту чертову даль, в Ивановку, так уж привезти оттуда побольше повстанцев, шпионов и диверсантов.

Не сразу, но нашелся и министр юстиции, нашелся в поселке Полярном. Именно там начал свою службу в роли районного судьи первый саам, получивший юридическое образование, Яков Иванович Осипов. Сначала он успешно прошел обучение в Институте народов Севера, так что осталось пройти юридические курсы, прошел курсы, и судья готов.

Институт народов Севера давал больше всего кандидатов на высшие правительственные должности в случае отторжения территории от Печенги до Урала и провозглашения Саамского государства.

Никита Терентьевич Матрехин, тоже саам, тридцатисемилетний председатель колхоза «Авт-Варре», вполне мог стать министром оленеводства, впрочем, на эту должность у младшего лейтенанта Михайлова были и другие кандидаты тоже из намеченных к аресту председателей колхозов.

Вот и Герасимов Александр Григорьевич тоже окончил Институт народов Севера, прежде чем стал учительствовать в ловозерской школе. Разве он отказался бы стать министром просвещения в саамском правительстве? Лучшей кандидатуры и не найдешь, потому что ее просто искать негде.

Хорошо, что есть Герасимов!

Но есть же и второй Герасимов!

Никон Петрович Герасимов мог пригодиться на роль министра печати, почт и телеграфа. Саам из села Рестикент был и батраком, и пастухом, и лесорубом, и сплавщиком, однако ни одной из этих профессий в полной мере удовлетворен не был и пошел на курсы ликвидации безграмотности, на самые первые, как только они открылись. Обнаружив немалые способности и тягу к знаниям, прямым путем был направлен не кем-нибудь, а самим Алдымовым все в ту же кузницу — в Институт народов Севера в Ленинграде. Вместе с Осиповым и Александром Герасимовым он был первой порослью саамской интеллигенции. Поручили заведовать Домом оленевода в Мурманске. Справился. Избрали депутатом Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся, и здесь не подвел. Разумный, общительный, приветливый, достаточно образованный, первый саамский селькор «Полярной правды»... Так что Никон Петрович Герасимов, по здравому рассуждению Ивана Михайловича Михайлова, служил безусловным кандидатом на любой министерский пост, кроме военного и юридического, поскольку эти оба уже заняты.

Незадолго до ареста Никон Петрович заведовал в Ловозерском райисполкоме отделом кадров. Не посвящая, разумеется, Никона Петровича в свои планы, Иван Михайлович пользовался информацией, полученной непосредственно от ловозерского кадровика для выявления кандидатов в повстанческое правительство. Сам того не подозревая, Никон Петрович оказал неоценимую услугу Ивану Михайловичу в трудном деле сколачивания группы саамских заговорщиков и диверсантов, впоследствии Иваном же Михайловичем и разоблаченной. В какую-то минуту, когда Иван Михайлович видел, как хорошо двинулось дело вперед, как приближается час активных действий, в его душе просыпалось чувство, близкое к благодар-

ности своему помощнику, но не включать его в готовившийся список было несправедливо. Был бы выбор побольше, а то и так грамотных, развитых, думающих саамов было у Михайлова наперечет.

Так что худо-бедно уже через полтора месяца вдохновенной работы правительство было сколочено. Теперь оставалось собрать повстанческую армию.

Здесь было проще.

Правда, за антисоветскую пропаганду приходилось брать неграмотных колхозниц из села Восмус, прачку из школьного интерната, старух рыбачек, плотника с четырьмя классами образования и всех вести по 58-6, 11, «шпионаж и заговоры». А брать приходилось и за две, и за три сотни километров от райцентра, вот какая досталась Ивану Михайловичу трудная территория, это вам не Васильевский остров или Петроградскую сторону подчищать от антисовэлемента.

## 19. УПОРНЫЙ ПОВСТАНЕЦ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ

Иван Михайлович лично этапировал в апреле активных участников несостоявшегося восстания из Ловозера на станцию Оленья, чтобы потом по железной дороге доставить этап в Мурманск. Сослужали ему с едва скрываемой неохотой два ловозерских милиционера — Кобозев и Ярцев.

Неожиданная сложность возникла со старейшим повстанцем Филипповым, Николаем Филипповичем, саамом, 1875 года рождения, образование низшее. Ничего особенного старик из себя не представлял. Коренастый от природы, но под грузом прожитых лет и спина дугой согнулась, и голова в плечи ушла, а широко расставленные ноги обнаруживали сходство с клещами. Не то чтобы на таких ногах ходить было неудобно, скорее возраст не позволял старику выдержать заданный конвоем темп.

Под беспредельной голубизной еще не налившегося всей полнотой красок полярного неба, озаряемый солнцем, лишь на два часа приседающим за ближнюю сопку, освежаемый легким ветром конвой двинулся в путь дорогой, недавно проложенной в местах болотистых и гористых, похрустывая тонким стеклянным ледком на дорожных лужах.

Конвой топал, вполне равнодушный к сияющей красоте пробуждающейся от подснежной спячки земли, да и арестанты были невеселы.

Полтора месяца томились люди в тесной конуре Ловозерского РО НКВД, пропитанной неистребимым запахом всех узилищ, где спертый запах табака, мочи и человеческого пота смешался с терпким запахом прелых звериных шкур, пошедших на кухлянки, малицы, почоки и таборки и жаждавших свежего воздуха не меньше, чем люди. Но и теперь под распахнутым небом, перед необозримой далью, открывавшейся с увалов, каждый чувствовал вовсе не свободу, а все ту же тесноту общей камеры. Стены узилища, словно во сне, раздвинулись, но никуда не исчезли, хотя и обрели форму винтовок, которые несли наперевес Кобозев и Ярцев, покачивая примкнутыми штыками, словно удочками на подсечке.

Дни стояли ясные, морозы не обидные.

Безотрадная, холодная, скучная, пустынная земля со снегом в ямах и льдом на озерах ни чем не могла привлечь и порадовать взор младшего лейтенанта Михайлова. Да и видел-то он в основном только схватившуюся грязь на дороге. Тащить-

ся до Оленьей, по его расчетам, часов двенадцать, благо дни уже длинные. Он залился на Шитикова, пообещавшего полуторку, но вчера тот позвонил и сказал, что машины не будет, сломалась, понимаешь. А еще он залился на секретаря Ловозерского райкома Елисеева, полез не в свое дело, людей у него, видите ли, не хватает. Ничего, Тищенко ему объяснил, что парторганизация района работе органов должна содействовать, а не совать палки в колеса.

«Да колес-то как раз и нет.. За полтора бы часика докатили, а теперь ковыляй...» Материал на всех остался крепкий. Убойный. Правда, под протоколами Алдымова подписи были только в первые два дня допроса, а когда пошли «признавательные показания», подписи не было... Ну, это Шитиков решить поможет. За Алдымова Михайлов был спокоен, чувствовал, что тот находится под особой заботой Шитикова. Так для доставки в Мурманск Алдымова, арестованного все-таки в Ловозере, Шитиков даже машину прислал. А этот табор извольте гнать пехом до Оленьей...

О чем только не передумаете долгой дорогой.

И снова мысли перекидываются к Алдымову, здесь все должно быть крепко, как никак президент Саамской республики, но есть тоже закавыка. Связь с иностранной разведкой установлена по письму на шведском. Там ясно написано: «Что касается самостоятельного Лопарского государства, то этот вопрос мы должны продвигать быстрее, эта идея стратегического характера». Для высшей меры несостоявшемуся «президенту» достаточно. Но оказалось, что это перевод из скандинавской печати про объединение тамошних аборигенов, не имеющих отношения к нашим, да и статья-то чуть не довоенная, то ли десятого, то ли одиннадцатого года. Вообще-то, по правилам, главный изобличающий документ, если он предъявлен на следствии, должен быть в «деле». Спасибо, Шитиков подсказал спрятать куда дальше, дескать, хватит и признания контрреволюционного характера этого письма, тем более на шведском. Правда, автор письма шведский профессор Вуклунд четыре года как на том свете, а Алдымов у Михайлова в заговоре только с тридцать пятого года...

И дорога скверная, и мысли нелегкие, трудная служба у младшего лейтенанта госбезопасности Михайлова.

Несмело входит весна в заполярные тундры. Постучит в полдень капелью, а к вечеру опять зима. А то и посреди бела дня напомним, кто здесь хозяин. Одна радость — свет, с каждым днем прибывает.

Но вот со стороны Вороньей надвинулась серая туча, и медленно закружились белые хлопья, повалил густой снег. Все пространство вокруг конвоя сжалось. Небеса бросили зыбкий белый покров, готовые, надо думать, укрыть обреченных, если б им догадаться да броситься в разные стороны.

Теперь уже мысли Михайлова вернулись на каменистую дорогу, он расстегнул кобуру, напрягся.

Конвойные то и дело рукавом шинели вытирали мокрые лица, к которым лепились снежные лепешечки.

Двенадцать охотников и звероловов, каждый из которых один на один мог с ножом пойти на медведя, покорностью своей потворствуя злодейству, плелись, сопутствуемые тремя ничтожными сообщниками властителей, незримых и могущественных, как демоны. Нет, не слабость и малодушие, а сознание своей невиновности и вера в справедливость заставляли этих сильных, сноровистых, умевших одолеть любые напасти и беды людей верить в неотвратимое благополучие в конце пути.

Но еще не доходя до поворота на Ревду, где разворачивалось строительство рудника, у путешественников возникло сомнение в том, что старик Филиппов смо-

жет дойти до Оленьей. Сначала его подгоняли, он все равно отставал, потом окликали... Из военно-морской практики известно, что скорость эскадры определяется скоростью самого тихоходного корабля. Если уж взят корабль в компанию, бросать нельзя. Но это корабль, это на море. И хотя по весне тундра тоже местами похожа на море разлитое, тащиться два дня ради одного арестанта не было никакого смысла.

На очередном небольшом привале арестантов Филиппова даже не стали ждать. Когда младший лейтенант Михайлов скомандовал: «А ну встали! Построились!», после чего арестанты поднялись и сбились в кучу, милиционер конвоя Кобзев напомнил офицеру государственной безопасности, что старика Филиппова даже не видно. «Ну и черт с ним! — решительно сказал начальник Ловозерского РО НКВД. — Пошел он...» — и произнес адрес, обычно в протоколы не записываемый. Освободившись от тянувшего всех назад старика, конвой уже без особенных сложностей, вымокший и уставший, еще через десять часов пути и краткого отдыха прибыл на станцию Оленья, что в полутораста километрах от города Мурманска.

Второй год как провели дорогу. Не признает ее прав на этой земле весенняя вода, то выбежит на полотно, то сверлит промоиной, копится в придорожных неглубоких канавах, готова мелкую напасть.

Звенят ручьи, захлестывая настил новеньких деревянных мостиков, еще сочащихся на перилах капельками янтарной смолы. Клокочет вырвавшаяся на свободу вода, звенят и хлопотно бормочут на камнях бесчисленные ручьи, аж захлебываясь, спешат всем рассказать что-то неудержимо важное.

Конвой в промазанных ворванью и все равно набрякших сыростью тяжелых сапогах шагает без сердечной смуты и печали, но с затаенной обидой. Служба, с виду и не ахти какая, а забот столько, гляди да оглядывайся.

«Все, что положено по довольствию и вещевому, и денежному, только что не зубами выгрызать приходится, да еще любая вошь из хозчасти себя перед тобой майором держит и ждет благодарности. А Михайлов? Не лучше Орлова. Мы, адмтдел, милиция у него не в подчинении. Есть у него Шкотов. Вот и конвоировали бы со Шкотовым. Мало? Пусть из Мурманска вызывает наряд, из Оленьей, в конце-то концов. Мы райотдел, а район у нас от Краснощелья до Вороньего».

Недосуг конвою думать о тех, кого велено доставить. Думать приходится о том, чтобы к вечеру не лег туман, ишь как парит.

Весенняя тундра только для таких путешественников, как младший лейтенант Михайлов с наганом и милиционеры Кобзев и Ярцев с трехлинейками наперевес, а взять оружие «на плечо» Михайлов не позволял, была сплошным препятствием на пути к привычным радостям жизни. Безотрадная, холодная, скучная, пустынная земля ничем не могла привлечь и порадовать взор Михайлова. Да и видел-то он в основном только расквашенную дорогу, по которой гнал свою добычу, стараясь сохранить по мере сил свои новые хромовые сапоги, надевавшиеся при визитах в Мурманск.

В отличие от них, для Филиппова, еще в начале минувшей зимы не чаявшего дожить до весны, весенняя тундра была обещанием жизни всему живому, сама, словно заново рожденная, она вливала в старика восторг и силу. Час от часу залитая солнцем, дышащая чистой талой водой, проснувшаяся земля была полна ликующих криков новой жизни. И хотя май, чесмес по-саамски, стало быть, лягушачий, еще не наступил, но уже пробовали свои голоса особо нетерпеливые, очнувшиеся от зимнего сна в прогретой воде неглубоких ям зеленые квакуны. А сверху, из бездонной небесной синевы, горланили о своем возвращении на родину несчетные стаи. Чуть ниже высоких жемчужных облаков тянулись эшелон за эшелон

тяжелые птицы, с шумом разгребая натруженными крыльями наконец-то родной легкий полярный воздух. Стая за стаяй, клин за клином отмахивали они последние версты немереного пути! Уставшие, счастливые, трубили о своем возвращении лебеди, а еще выше горластые гуси скрипели так, словно переваливались на рытвинах и скрипел груженный обоз херсонских чумаков где-нибудь в бескрайней приднепровской степи.

Кончилось время скамм, темное, бессолнечное время, наступило время тальв!

Оно будет идти от появления солнца в январе до того дня осени, когда снова скроется уже не греющий медный диск и не покажется больше из-за края горизонта до нового января.

А сейчас славное время сьохч, ранняя весна, ночью еще морозит, а днем уже греет солнышко.

Казалось, что в жизни старого лопаря уже не произойдет ничего нового, ничто не выведет его за привычный круг, где зимняя охота сменялась оленьим отелом, после чего шел весенний семужий лов, а там и выезд на летние пастбища, осенний лов, возвращение на зимние пастбища и долгожданная зима!

Старик Филиппов и по молодости любил, как и все саамы, зиму больше, чем лето. Хорошее, покойное, сытное время. Есть дрова, есть мясо, в бочках рыба, не ленись, кушай. А в других бочках морошка и брусника. Пробил черпаком тонкий ледок, схватившийся за ночь, зачерпнул, припал... и словно ледяной факел пройдет сквозь тебя, выжигая и усталость, и хвори, вольется в кровь живительным огнем, возвеселит душу. А еще в каждом доме в теплом месте томится и шумно вздыхает, отдувается, набирает силу бочонок с бражкой. Это в запас, а первый уже открыт и для хозяев, и для гостей. А от печки исходит запах риске, хлеба из пресного ржаного теста, вкуснейшего, пока свежий...

Лето не задалось, припасов не сделал? Да в тундре не пропадешь, прокормит. Нешто куропаток не хватит? Да их и ребятишки несмышленные силками ловят и старики со старухами для приработка сотнями берут. Так их в насмешку и зовут — «летучая рыба», хоть сетями лови. Сдал — в кармане копейка!

Комара нет, гнуса нет, олени стада далеко, в лесах, в безопасности. Волк зимой в лесу не держится, одни уходят к русским, на юг, на терский берег, а те, что остаются, промышляют по мелколесью. К оленям в очередь ходят пастухи, народу много, дело необременительное. А свои олешки, для разъезда, рядом. Хорошо с оленем, без оленя плохо. Весной мокрота, осенью дождь и слякоть, где пройдешь, а где и утонешь, а зимой везде дорога. А главная дорога — в гости! Куда бы ты ни приехал, везде тебе рады, будет для тебя и угол и стол. И у тебя, сколько бы ни приехало, не будет тесно.

С Масленой, с четверга начинается кыргылы пейве — «гулениый день», веселый день, долгий день, на оленях катаются, песни поют, и в каждой тупе вечеринки. Умеют веселиться саамы, ни ссор, ни грубого слова, ни обиды. Но люди есть люди, всякое случается, только виноватый сам первым идет к обиженному, винится перед ним, не видя в том для себя никакого урона. Посерьезней ссора — оба кланяются друг другу в ноги, вместе помолятся, и снова мир и любовь. Только на праздниках такого не случается, а если и случается, так уж очень редко.

Отгуляли, и за дело. Мужчины отправляются на охоту. Раньше дикого оленя брали, теперь дикого оленя уже нет. Уходят охотники надолго: и на неделю, и на две, и на три. Заложил оленя в кёрежу, и в путь. Умный человек придумал кёрежу. Когда? Да может, тысячу лет назад, а может, и больше. Вроде бы и лодочка на одного человека, с широким, как лыжа, килем и загнутым кверху носом, а она ж и сани. И зимой по снегу, и летом и по болотам, и по горам. А соорудил над дощатой спинкой до середины кёрежи навес от непогоды — вот тебе и балок. Сколько сотен верст проехал Филиппов в кёрежах, и сам не вспомнит, и никто не сосчитает. Олень

да собака — вот и вся его компания. Зверь охотника по тундре поводит, поводит, даром шкурку свою не отдаст. Бывает, так с одной шкуркой с охоты и возвращался, а было дело, Филиппов по десять сиводушек брал на капканах, голубых песцов привозил, а раз принес сорок песцов. После такой добычи уже навсегда за мужиком остается звание — *трудник!*

Дамы тоже время не теряют, расстилают по полу шкуры, выдělывают, кроят одежду, шьют. Только работа эта не в тягость, для себя. Наскучило — нарядилась, как барыня, заложила олешка в нарядную упряжь, и айда по гостям. К подружкам надо? Надо. Сестер проведать надо? Надо. А к братьям? Нет, то не пустая езда. Олений след, след от гостевых санок, может быть, и есть тот стежок, что сшивает саамское племя воедино, да так крепко, что и за тысячу лет ничто его не разорвало. Дни тусклые, короткие, да веселье яркое, от всей полноты души, не обремененной грехами зависти, жадности, ревностей и затаенных обид.

Хорошее время — зима! Жаль, быстро проносится. Март еще зима, но важеньки уже повернули на север, встали во главе стада, повели к морю, где сами в свой час появились на свет, а теперь готовы дать новую жизнь своему потомству.

Весеннее кочевье — дело для саама привычное, а уж старику Филиппову, отмеченному званием *трудник*, прибавилось еще и звание *пастай*. Слава Богу, было что вспомнить. В весеннюю пору перед отелом глаз да глаз нужен за оленьим стадом, все должно быть наготове, чтобы двинуться за ним, когда важеньки потянутся к тем местам, где родились сами. Бывает, стадо сорвется и пошло на север без пастуха. Уводят стадо важеньки, у них тяга к родимым местам такой силы, что они всегда идут во главе стада, а быки и *хирваса* тянутся в арьергарде, как бы для охраны. И когда придут на привычные места вблизи летних пастбищ, оленицы будут держаться в отдельности. У быков к ним никакого интереса, ходят себе без пастухов на воле. А мужчины ставят важенок на привязь, ухаживают за ними, переставляют на новое место, если выедят ягель, водят на водопой. А потом и принимают телят. Когда матке помощь нужна, тут зовут *пастая*, Волшебные руки у старика Филиппова, все знает, может и развернуть олененочка прямо в утробе. Третий год остается старик Филиппов на погосте, не идет за стадом, есть кому и помоложе по тундре бегать. Да вот пришлось с места сняться и двинуться в одиночку в неблизкий Мурманск. Хорошие таборки у старика, сам смолил, ходи хоть неделю без просушки, легко ногам и сухо.

Вот и белая ночь, без света и тьмы, окутала землю.

Много воды весной в тундре. Обходить надо, летом можно пройти и покороче, зимой прямым, а сейчас выбирай места повыше, по каменистым вершинкам со стелющимися березками, брусничником и зарослями вороники. Да весь путь не угадаешь, вот и влетел и раз, и два в мочажину, подернутую тальником. Не страшно. Нога только на половину провалилась, под верхней водой лед, который другой раз и за лето не растает.

Вспорхнула стая пеночек, перепуганно вереща. Если бы не усталость и не забота, что томила душу старика, он бы рассмеялся. Он всегда смеялся, когда его кто-нибудь боялся. Разве он враг пеночкам? У них — небо, у него — земля, места всем хватит. Остановился, потянул носом воздух, а вздохнуть не мог и рот открыл, а внутри вдруг тесно стало, некуда воздуху войти. Окинул рассеянным взглядом обметанных трахомной краснотой глаз молчаливое пространство, словно ждал оттуда ответ, что это вдруг его душит. Молчали невысокие корявые березки. Молчали чахлые елки на набухшем водой болоте. Пролетела чайка-моевка, жадная и крикливая. Ей только до своего брюха дело, где ж с ней словом перемолвиться. Похрипел дед на манер оленя, почувствовал, как тонкая струйка холодного воздуха, прорвав невидимую преграду, проникла в грудь. Даже голова закружилась. Не первый раз

такое случалось, постоял, чтобы и передохнуть и отдышаться...

Для сокращения пути Филиппов выбрал тропу через Медвежью падь, она хоть и в распадке меж двух сопок, а вода в ней не держится, сбегает. Шел с надеждой, что косматый на пути не попадется, вон сколько у него земли кругом, а у Филиппова только тропинка. Увидел выбежавшую на промысел мышшь-пеструшку, спинка пестрая, голова большая. Понимал Филиппов мышшь-пеструшку, уважал, отчаянный зверь! Только покажется, что кто-то хочет напасть, встанет на задние лапки, как медведь, и хватает, хоть человека за ногу, хоть оленя за морду, и бьет головой, как молотком. Разошлись миром. Старик уже прошел самое узкое место, сдавленное с двух сторон отвесными каменными обрывами лесистых сопок, когда над ним со скрипучим криком взметнулась стайка полярных крачек. Ясно, что кто-то спугнул этих ровненьких, как веретенце, птиц с узкой кокетливой черной шляпкой на голове, сдвинутой к самому носу, и траурными плерезами на концах маховых перьев узких выгнутых крыльев. Филиппов остановился и услышал дальний хруст тяжелого зверя, который ни с чем в мире нельзя спутать. Раньше слух у него был такой, что, как говорили, слышит, если облако заденет за луну. Зверя он услышал поздно. Так беззаботно ходит только хозяин. Если бы у Филиппова был нож, без которого саам не выходит из жилища, он чувствовал бы себя спокойно, но вышел он не из жилища, и нож у него отобрали еще зимой. Он увидел зверя на каменном откосе, где по едва заметному выступу тот шел по каким-то своим делам. Оба остановились и стали смотреть друг на друга. Мишка взревел, вытянув морду. «Зачем кричишь?» — с укоризной спросил Филиппов. Чтобы спуститься на тропинку, медведю надо было или скользить вниз метров пять по голой скале, или идти поверху, сопровождая идущего внизу человека, пока не попадется удобное место для встречи. Медведь был хоть и большой, но в потертой, свалывшейся в комья бурой шубе, словно она досталась ему даже не от отца, а от деда. Мишка потянул черным лоснящимся разломанным пяточком воздух, замотал головой и снова заревел. Надо думать, старик ему не понравился, одежды на нем больше, чем под одеждой еды. Не понравился и мишка Филиппову. Медвежатинка для саама лакомая еда, да что ж с этого, иссохшего за зиму, толку. Это и с молодыми-то зубами, теми, что хлостил оленей, он едва ли мог справиться с таким мясом, а на оставшихся корешках можно сжевать только жирную осеннюю медвежатину. Так они и разошлись, недовольные друг другом.

Днем от пригретого снега поднималось марево, пряча солнце за полупрозрачной кисеей, словно не сверху, а где-то внизу, под землей, развели тепло и топят снежные залежи.

И голова кружилась, и ноги слабли, и тянуло, тянуло прилечь в снег, в теплый сугробец, но знал, что надо идти, и шел уже в какой-то хмельной одури.

Из широкой промоины на озерце, обставленном по берегу скелетами полусохшего елового подростка, разом, стаей, снялись чайки-поморники, огласив все вокруг своей скрипучей перебранкой. Когда старик слышал этот царапающий слух крик, на ум приходила одна и та же мысль: «Чем так-то всегда твякать друг на дружку жили бы порознь, нет, живут вместе, и ругани нет конца. А может, это у них разговор такой, но мыслимо ли, чтобы добрый разговор ухо резал...»

Так и шел, радуясь первой показавшейся из-под снега камнеломке, огорчаясь птичьими ссорами, благодарил тундру за припасенную для него под снегом ягоду...

И снова валил тяжелый мокрый снег, закрывая все пространство вокруг старика. Чтобы идти без дороги, да еще и не видя окрестных сопок, и не сбиться с пути, мало полвека потоптать тундру, изъездить ее в упряжке, нужно еще и природный дар, позволяющий птицам лететь в ночи, а жителям пустынь угадывать дорогу среди похожих друг на друга, как волны в море, песчаных барханов.

С увала на увал, с варака на варак, по одному ему ведомым бродам и тропам, питаясь перезимовавшей под снегом брусникой, через три дня Филиппов, Николай Филиппович, 1875 года рождения, дотопал на своих натруженных, чуть согнутых ногах в шумный город Мурманск. И чем ближе подходил Николай Филиппович к городу, тем больше дыма поднималось в небо, тем больше гудков, шипения паровых кранов в порту и на стройках, железного лязганья и паровозных свистков на разбежавшихся вдоль залива путях. С его-то ухом, способным слышать за версту шорох крыльев гагары, способным не глядя, лишь по плеску, сказать, какая рыба играет, различать все голоса ветра, для него, знавшего смысл каждого звука, здесь было столько звуков бессмысленных и пустых. Он только знал: это стонет железо, это скрипит, изнемогая, дерево, а это кричит рвущийся на волю пар. Каждый звук там, дома, рассказывал, чем живет тундра. И малый звук мог сказать много, а город только шумел, грохотал, вскрикивал, а чего хотел, куда звал – не говорил.

А еще эти звуки были похожи на стон, словно город был охвачен какой-то неведомой старику болезнью.

Сначала шум и грохот, а потом еще и запах еды обрушился на изголодавшегося старика, закружил ему голову. Запах пищи растекался по улицам из магазинов, столовых, из кухонных форточек, из проезжавших саней, развозивших печеный хлеб в деревянных ларях, казалось, весь город еще и готовится к большому празднику и заготавливает кушанья. Старик глотал пресную, как талая вода, слюну.

Идти мимо рыбного порта, окутавшего, казалось, весь город запахом соленой селедки, трески, палтуса, пикши, зубатки, идти даже мимо громоздящихся гор пустых бочек, хранящих запах рассола, дух еды, все равно что идти мимо дома, где праздник и пир, но здесь не тундра, никто не зовет ковыляющего старика отдохнуть и сесть к столу..

Добрые люди подсказали повстанцу Филиппову, как среди этих барачных заборов, дымящих труб, скачущих с гремящими повозками лошадей и воющих на подъемах грузовиков, как, бредя по деревянным панелям вдоль непроезжих пока еще улиц, найти НКВД. «Зачем они тебе?» — полюбостествовал очередной прохожий в ответ на вопрос старика. «Мне их не надо, — сказал старик и улыбнулся, от чего смуглое его лицо стало похоже на скомканную маслянистую бумагу. — Мне их не надо. Им меня надо. Михайлову надо».

Но старик жестоко ошибся.

Когда Михайлову по внутреннему телефону доложили, что в бюро пропусков пришел к нему Филиппов из Ловозера, младший лейтенант без всякого почтения вновь назвал тот же самый адрес, по которому уже отправлял старика по дороге на станцию Оленью. Если бы он знал, что Филиппов сам доберется до тюрьмы, он бы не вычеркнул его из списка, не порвал бы и не выкинул его «дело», когда сдавал арестантов, доставленных им наконец-то в Мурманск. А теперь что ж, снова здорово? Нет уж, пусть убирается, откуда пришел.

Военный человек за окошечком в бюро пропусков, с малиновым треугольничком на голубой петлице, не вынимая папиросы изо рта, кренил голову, чтобы дым не попадал в глаза, и, тыркая пером в чернильницу, что-то вписывал в журнал размером с амбарную книгу. Пухлым нематым телом развалилась на столе книга для учета мытарств людей свободных, желавших поучаствовать в судьбе тех, кто свободы уже лишился. Воин замер, держа на весу свое чернильное оружие, и смотрел на морщинистое лицо в углублении амбразуры так, словно там был не старик, а старая муха, вознамерившаяся оставить непозволительный след в его амбарной книге. «Филиппов?» — спросил проницательный страж. Старику было приятно, что его узнают даже в Мурманске. «Я Филиппов», — улыбнулся старик. «Николай?» — «Николай», — подтвердил выстоявший долгую очередь странник. «Так вот что, Филиппов... Николай...» — и воин передал распоряжение старшего по зва-

нию резко, четко, кратко, но не дословно, только по смыслу, и, не уверенный в том, что старик его поймет, махнул левой ладонью, как отгоняют докучливую все-таки муху. «Куда Михайлов сказал мне идти?» — переспросил Филиппов, щурия глаза на малиновый треугольник в петлице. Лучшей приманки для подледной ловли окуня не придумать... «Отойдите, гражданин, не мешайте работать!» — наконец строго сказал обладатель бесценного малинового треугольничка в петлице.

Действительно, очередь к окошечку была изрядной, работа кипела. До Постановления ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров о прекращении массовых репрессий было еще целых семь месяцев.

## 20. ДОПРОС ЧЕРТКОВА

После того как руководители и организаторы «заговора» лишились своей армии и вся она в составе восемнадцати человек была изолирована и обезврежена младшим лейтенантом Михайловым, а дело № 46197-38 набухло и стало уже в палец толщиной, пришла пора браться за самих руководителей и организаторов.

В 1936 году в ловозерской школе училось уже сто семьдесят два ученика! Проблема букваря для саамов приобрела особый размах и перспективу. За эту ниточку и потянул младший лейтенант Михайлов.

В 1933 году группа ученых под руководством привлеченного к следствию Егора Ефремовича Черткова и так же избежавшего даже приглашения на допрос Александра Гавриловича Лужневского создала саамский алфавит на латинской основе. Были изданы букварь и несколько книг на саамском языке в подспорье учителям, они-то и станут в руках проницательного младшего лейтенанта госбезопасности Михайлова, Ивана Михайловича, вещественными доказательствами, подтверждающими широкие планы саамского заговора.

Повестку принесли в Мурманске Егору Ефремовичу ранним утром в саамский Дом оленевода на улице Карла Маркса, где на первом этаже располагалась научно-практическая база по изучению народов Севера, а на втором этаже — гостиница. Во дворе гостиницы был оборудован специальный загон для оленей с запасом ягеля. У наезжавшего и подолгу жившего в Мурманске Черткова в гостинице была своя комната, если хотите, номер с относительными удобствами в коридоре. Стук в дверь ранним утром, затемно, разбудил любившего работать по ночам Егора Ефремовича. «Что надо?» — не поднимаясь с кровати, крикнул ученый. «Расписаться», — послышалось из-за двери. Пришлось встать. Попросили расписаться в толстой коленкоровой тетради, прошнурованной и скрепленной печатью. Разносчик хоть и был младшим воином госбезопасности, но ходил с повестками в штатском, чтобы граждан особенно не смущать. Чертков как раз собирался ехать в Ловозеро и удивился, что вызвали как раз в Ловозерское отделение НКВД.

У каждого, кто получал такие приглашения, конечно, возникали свои чувства и по-своему начинало биться сердце. Общим был, пожалуй, только первый, обращенный в никуда вопрос: зачем это им я?

Держа в руках стандартный листок с вписанной от руки своей фамилией, датой приглашения и адресом в Ловозере, Чертков почему-то тут же вспомнил, как три года назад получил извещение из поликлиники о том, что ему нужно пройти повторно рентген легких. Он знал, что именно с повторного рентгена легких начинается тягостная и опасная история под названием туберкулез. Так оно и случилось. «Должна вас огорчить...» — сказала женщина-рентгенолог, снимая толстые резиновые перчатки, в которых поворачивала обнаженного по пояс Черткова. И нача-

лось... Полтора года существования между жизнью и смертью, именно в таком настроении проходил лечение склонный к мнительности Егор Ефремович. И вот наконец в прошлом году, после возвращения из Сочи, все те же руки, наверное, даже в тех же толстых резиновых перчатках долго поворачивали обнаженный торс Черткова то боком, то грудью, и наконец прозвучало: «Должна вас обрадовать. Очаг известкуется. Процесс остановлен. Вовремя мы его с вами, Егор Ефремович, поймали...» Из окружной клиники Чертков выходил, как отпущенный на свободу узник, хотелось каждому прохожему говорить о своем освобождении.

«Скорее всего, это какое-то общение... — размышлял Егор Ефремович. — Алдымов? У него взяли жену. Шила в мешке не утаишь, все об этом знают. Он бывал у Алдымовых, был знаком и с Серафимой Прокофьевной. Так что? Она работала в горбольнице акушеркой, сколько через ее руки прошло народу. Всех теперь подозревать в контактах? В конце концов, с Алдымовым они решительно разошлись в решении вопроса о саамской письменности. Алексей Кириллович был упрямым сторонником кириллицы, в то время как преимущества латиницы очевидно».

Годы учебы были уже давно позади, уже давно сам Егор Ефремович учил и принимал экзамены, но раз, а то и два раза в год его посещал один и тот же сон. Он видел себя на экзамене то по математике, то по тригонометрии, за ненужностью забытых после окончания «единой советской средней школы», как именовалась его гимназия в год ее окончания. Он видел себя идущим к столу с билетами, тянущим билет, заранее зная, что у него нет ответов и на самые простые вопросы. Вот это чувство обреченности, наполнявшее тягостный сон, вдруг всплыло в нем и не оставляло.

Все три дня до появления в Ловозере, даже засыпая, Егор Ефремович проигрывал свой предстоящий разговор со следователем с неразборчивой фамилий, начинавшейся явно на букву «М».

Егор Ефремович Чертков, год в год ровесник века, сложился к своим тридцати восьми годам в мужчину крупного, даже несколько громоздкого. Породист. Удлиненная голова, крупные черты лица, тяжеловатая нижняя челюсть несколько вытянутого, отчасти даже лошадиного лица придавали его обличью весомость, а высказываниям убедительность. Правда, ротик был для такого лица маленький, слегка капризный, а в остальном это был человек рослый и уверенный в каждом жесте. Такие выигрывают в рулетку. Приходят. Ставят. Выигрывают. Уходят. Словно не играли с судьбой, а пришли и взяли принадлежащее им по праву, прямо как из ящика своего письменного стола, или отдали то, что давно нужно было отдать. Не глуп, далеко не глуп. Расчетлив? Не без этого. Да кто ж не расчетлив в двадцатом веке! Отнюдь не сентиментален, но при случае обнаруживал неукротимую чувствительность. Скрытен, но не зол, обычно скрытные люди злы, этот нет.

Внутренность свою, или, как говорится, душу, он почти всегда прикрывал несмываемой полуулыбкой, держа наготове какую-нибудь любезность, при необходимости сменявшуюся подчеркнuto серьезным вниманием к собеседнику. Есть основания полагать, что и на свет он появился не заплакав от первого вздоха, а вежливо улыбувшись. Улыбающийся человек — это человек, довольный жизнью, стало быть, победительный, неспособный огорчить или, чего доброго, причинить боль. На людях был подчеркнuto обходителен и приветлив, улыбку надевал вместе со шляпой и калошами выходя из дома или прямо в прихожей, прежде чем открыть дверь гостю. Тем удивительнее, что в кругу обожающей его семьи, а он был единственным сыном при трех незамужних сестрах, обнаруживал голос несколько крикливый, позволял себе резкие поступки и всевозможные оттенки раздражения. Близкие объясняли все эти эксцессы следствием тонкости и впечатлительности натуры Егора Ефремовича.

Егор Ефремович не только жил, но еще и немного играл в жизнь, как и полагается удачливому ребенку. Словно кто-то ему достоверно сообщил, что все беды его минуют, и доживет он до девяноста семи лет, и умрет легко, во сне, на собственной кровати, просто остановится хорошо послужившее и наконец уставшее сердце. А поскользну до девяноста семи еще уйма времени, можно позволить себе смеяться громче других и быть снисходительно-терпеливым, сталкиваясь с чужими печальями. Даже своему безразличию он сумел придать какое-то обаяние, дескать, смотрите, как надо, я же не печалюсь, не убивайтесь и вы, жизнь удалась!

Что ни говори, но люди, умеющие легко переносить чужие напасти, совершенно необходимы, без них, быть может, жизнь кому-то могла бы показаться слишком мрачной.

Говоря людям приятное, он доставлял себе не меньше удовольствия, чем тем, кого хотел порадовать щедростью своей души.

«Вы прелестная пара, я всегда люблюсь вами, глаз отдыхает и душа», — сказал Егор Ефремович на третий, если не на второй визит в дом Алдымовых.

Он словно и вправду не замечал, что позволительное людям пожилым, много старше по возрасту, в устах, по сути, молодого человека совершенно невозможно.

Стороннему, в сущности, молодому человеку, не родственнику, не генералу, не барину, и в похвалах, и в сообщении поощрительных наблюдений за человечеством следует быть крайне осторожным. В противном случае такой молодой человек невольно выказывает претензию быть и родственником, и баринном, и немножко генералом в семействе нижнего чина. Этой барственной благорасположенности к человечеству нигде не учат, ее можно или впитать с молоком матери, или вырастить в себе на почве, хорошо пропитанной безмерным самоуважением.

— Прелестными, Егор Ефремович, именуют деток или впадающих в детство старичков, — не замедлила сказать Серафима Прокофьевна, услышав про «прелестную пару». — Куда же вы нас относите?

— Вот я и снова офершпилился! Спасибо вам, добрейшая Серафима Прокофьевна, что вы за мной замечаете. Женщины, как всегда, правы. Вот окажись я, с моей-то простотой, в обществе, и стыда не оберешься. — Егор Ефремович произнес это с такой покаянной миной, так виновато поджал и без того маленький ротик, что заподозрить его в желании дать понять, что общество Алдымовых он за «общество» не считает, было бы просто жестоко.

— У вас так хорошо, а высказать не умею. А ведь я в молодые годы стихи писал. Наварное, слабые, но многие в них что-то находили, предрекали мне литературное поприще и славу. Едва не напечатался в одном альманахе. Быть молодым литератором, знаете ли, чувство совершенно невыразимое.

— Закопали талант?

— Закопал, Серафима Прокофьевна, закопал. Саамский букварь — вот моя могила, а может быть, памятник.

Зная за собой уже немалые заслуги, Егор Ефремович умел достойно, с надлежащей сдержанностью, приправленной легкой самоиронией, напоминать о них.

Милицейский барак, где размещалось и Ловозерское отделение НКВД, по окна занесенный снегом всеми своими четырьмя трубами, вздымал к ясному, искрящемуся на морозе небу прямые столбы дыма и напоминал изготовившийся к зимней кампании миноносец времен русско-японской войны. Да и весь поселок, с домами и хозяйственными постройками, утонувшими по ватерлинию, был похож на флотилию, пришедшую в обширную гавань на зимнюю стоянку и державшую под парами свои готовые к работе машины.

На той стороне необъятного Ловозера во всю длину берега лежала гигантская туша сопки, зимой очертаньями своими напоминавшая белого кита. Казалось,

вот-вот над возвышенной, обращенной на запад горбиной взовется фонтан, и туша с шумным плеском нырнет и скроется из глаз подо льдом озера, открыв бесконечную даль, упирающуюся в океанский берег.

— Раздевайтесь, — вместо ответа на «Добрый день» сказал Михайлов и указал Черткову рукой на деревянную вешалку на пять крючков, прибитую к стене. — Повестку. Паспорт. Можете сесть, — на этот раз показал пальцем на многострадальный табурет перед своим столом.

Не глядя на Черткова, чекист принялся с каким-то чуть демонстративным тщанием изучать повестку и, особенно, паспорт. Глядя на фотографию в паспорте, несколько раз посмотрел и на приглашенного, наверное, чтобы убедиться в сходстве.

Под пиджаком у Черткова был поддет черный вязаный свитер. На такой же свитер, только темно-серого цвета, у Михайлова вместо пиджака была надета синяя гимнастерка с орденом Красной Звезды. Ворот на гимнастерке был расстегнут, что сообщало воину госбезопасности некоторую домашность.

Михайлов открыл средний ящик своего письменного стола и сбросил туда и паспорт, и повестку, сопроводив это действие легкой гримасой досады, дескать, надо бы и с паспортом еще разобраться, да не до этого. Он достал из правого ящика стола стопку листов, положил перед собой и стал заполнять бланк допроса.

Заполнив, отложил ручку и стал разглядывать Черткова, словно пытался вспомнить, где он мог его видеть.

Молчание затянулось, Чертков не выдержал и спросил:

— Позвольте... я, понимаете ли, хотел бы знать...

— Говорить будете, когда вас спросят, — спокойно произнес Михайлов. Собственно, и сама пауза, само молчание как раз и нужно было для того, чтобы подследственный заговорил, вот тут-то его и посадить на место. — Когда спросят, тогда и будете говорить, а пока подумайте хорошенько, почему вы здесь.

Интересно, что простой народ, мужики, могли молча сидеть или стоять, ни о чем не спрашивая, хоть часами. О саамах и речи нет, те могли, надо думать, молча сидеть хоть сутками, а вот народ образованный, интеллигенция, те долго молча высидеть не могли. Нетерпеливый народ, любопытствующий.

Михайлов не знал, что это раб и варвар не могли заговорить первыми с патрицием. Не знал и порядка, по которому никто не может заговорить первым и с английской королевой, покуда она сама не соблаговолит к тебе обратиться, а не обратится, вот и стой. Так что Михайлов, сам того не подозревая, требовал в общении с собой тех же манер, предписанных в общении с римскими патрициями и английскими королевами.

Сочтя паузу достаточной, убедившись в том, что подследственный начинает понимать, куда он пришел, Михайлов обмакнул перо в чернильницу и, не глядя на Черткова, шумно выдохнул, словно предстояло поднять тяжкий груз, и скучно забормотал:

— Фамилия? Имя? Отчество? Год и место рождения? — Михайлов любил писать пером «уточкой» без нажима. Когда бланк был заполнен, он протянул его Черткову: — Посмотрите, все ли верно. Распишитесь. А теперь рассказывайте.

Чертков недоуменно молчал.

— Ну что ж, — младший лейтенант посмотрел в глаза молодому ученому, выждал паузу и проговорил привычно, буднично: — Расскажите о вашей шпионско-диверсионной деятельности и саамской повстанческой организации.

— Где? — невольно и невпопад вырвалось у Черткова. Вот он, билет, на который нет ответа!

— Это нас как раз и интересует. — Для наглядности Иван Михайлович макнул перо в чернильницу и осмотрел кончик пера, выказав готовность записывать четко, ответственно, без помарок.

Лицо Черткова дрогнуло, сморщился лоб, дернулись брови, непроизвольно приоткрылся рот в готовности к возражению, губы, подбородок, даже нос, все пришло в движение, оставаясь, разумеется, на месте, словно рябь прошла по воде от совершенно невидимого движения воздуха.

— Ну что вы, Чертков, дело поправимое, — сказал Михайлов, словно по плечу похлопал.

В усмешке Михайлова, как в зеркале, Чертков увидел свой страх, он тут же овладел собой, мгновенно взял себя в руки и вернул лицу спокойствие и мягкость доброжелательного собеседника.

— Вы попали в очень нехорошую историю, очень нехорошую, я могу помочь вам из нее выбраться. Но это только в том случае, если вы сами захотите выкарабкаться и будете мне помогать. Тонущий человек иногда просто мешает его спасти. Сразу скажу, помешать вы мне не можете, а вот помочь можете.

— Абсурд, — наконец произнес подследственный.

Иван Михайлович ответил на это терпеливым молчанием. Сколько раз ему уже приходилось слышать это слово. А ведь было время, когда он услышал это слово первый раз и не понял, о чем речь. Теперь его все эти заковыристые словечки не смущали. Он не позволял себя сбить с толку, и если ему подпускали что-нибудь из науки, он спокойно и с достоинством спрашивал: «Что вы хотите этим сказать?» И подследственный вынужден был все объяснить простыми словами.

— Ну, придумали бы хоть что-нибудь новенькое. Все одно и то же, как сговорились: Не знаю... первый раз слышу... Хата с краю, ничего не знаю. Абсурд, — специально ввернул Михайлов. — Когда это говорит какой-нибудь неотесанный самоед, понятно, что с него взять. Но вы же почти профессор.

Стараясь говорить как можно спокойней, тоном, напоминавшим диктовку, Егор Ефремович наконец сказал о том, что ни к какой шпионско-диверсионной деятельности отношения не имеет.

— Вы любопытствуете знать, — Чертков взял тон почти профессорский, — имели ли я несчастье состоять в заговоре туземцев... — это слово лучше всего выражало дистанцию, — против власти и государства? Ваши предположения обращены в сферы фантастические. Рассудим здраво, как поднять на антиправительственную деятельность племена, мало смыслящие в политике и с трудом, как мне представляется, различающие власть царскую, Временного правительства, интервентов и нынешнюю, советскую.

— Очень легко. Стоит сказать, что новая власть, советская, хочет отобрать у них пастбища, рыбные тони, переселить всех из вежей и тупов в дома, как у русских, и недовольство тут же и вспыхнет, — уверенно сказал Михайлов.

— Вы знаете, как поднять восстание туземных племен, а мне, извините, такое и в голову не могло прийти, — негромко, почти извиняясь за бестактность, произнес Чертков.

Увидев, что сплеховал, Михайлов взял паузу, уставившись синими глазами в подследственного, уверенный, что нужные слова всплывут сами собой.

— Мне это тоже не могло прийти в голову, как вы выражаетесь, — нашелся наконец Михайлов, — но о методах вашей повстанческой работы я узнал из документов и от ваших сообщников. Не советую вам продолжать запираяться и вводить следствие в заблуждение.

Теперь уже Чертков не знал, что на это ответить.

— Вы видите, я ничего не записал, — миролюбиво произнес Михайлов, повертел в руках вставочку и положил ее на край чернильницы. — В ваших же интересах. Зачем вам нужно, чтобы в протоколе допроса были сведения о вашей неискренности и отказе сотрудничать со следствием? Это может вам только повредить, Егор Ефремович, — взглянув для верности на первый лист, проговорил Иван Михайлович.

Едва ли в этом спокойном, сдержанном, уверенном в себе начальнике Ловозерского отделения НКВД те, кого он отправил в свое время на освоение Печорского края, на строительство Беломорско-Балтийского канала, на строительство канала Москва–Волга, или в «дальние командировки», узнали бы крикливого и драчливого помощника следователя с Лубянки. Тогда это был несколько нервный, полагавшийся больше на звонкий голос и крепкие кулаки помощник следователя, озабоченный тем, чтобы произвести больше впечатление на своих начальников, чем на подследственных. Теперь он знал себе цену. Он мог на равных вести разговор с любым ученым академиком, поскольку если работа на Лубянке была отличной школой (Шорников, Романов, Фельдман, Проционский), то работа в Ленинграде (Сурин, Гиндин, Лукомский, Докторов) вполне могла считаться университетом.

— Ну что ж, теперь, как видите, я вношу свой вопрос в протокол. Ответьте, гражданин Чертков, — следователь сначала записал вопрос, а потом произнес его вслух: — Почему, составляя букварь, для письменности русских саамов вы выбрали иностранный шрифт?

«Слава Богу, — на секунду мелькнуло в голове подследственного, — заговорили о деле, а то шпионско-террористическое, повстанческое...»

Отвечал на вопрос Егор Ефремович не спеша, как бы диктуя следователю свой ответ. Слова были простыми и привычными.

— Большая часть саамов обитает в Скандинавии, а наши кильдинские саамы — лишь часть саамского этноса, — и даже повторил: — Кильдинские саамы — лишь часть, небольшая, саамского этноса.

— Вы говорите «этноса», что вы хотите этим сказать? — перебил Михайлов.

Чертков догадался, что следователь, скорее всего, впервые слышит это слово.

— Видите ли, это понятие из этнографии, науки, изучающей народонаселение. Этнос — это собирательное понятие для... как бы проще сказать, для однородного населения...

— Не надо проще, рассказывайте, как умеете, — снисходительно сказал Михайлов.

— Итак. Есть две группы саамов, скандинавские и наши, именуемые кильдинскими. Скандинавские саамы более многочисленные, они имеют письменность, использующую латинский алфавит, так что в целях поддержания единства саамского этноса, простите, народности нами был выбран тоже латинский алфавит.

Иван Михайлович записал и поднял глаза на ученого.

— Теперь будет вот такой вопрос. — И следователь снова сделал запись в протоколе, а потом прочитал, слегка повторяя академическую интонацию подследственного: — Могут ли... проживающие в фашистской Финляндии саамы... прочитать то, что будет написано нашими саамами на вашем языке?

«Вот она где, ловушка!»

— Письменность и язык не одно и то же. Язык создает народ...

— Не умничайте, вы не на лекции, — тут же оборвал его младший лейтенант. — Здесь знают, кто что создает. Вот вы, к примеру, создали условия для шпионско-диверсионной связи наших саамов с границей. Повторяю свой вопрос: могут ли проживающие в фашистской Финляндии саамы прочитать написанное нашими саамами на придуманном вами письме?

Чертков чувствовал, что его ответ станет тиной, из которой сложно будет выбраться, но привычные для разговора о языке слова прозвучали словно без его воли.

— Мы же можем читать и понимать смысл текстов родственных нам славянских языков: украинского, болгарского, белорусского, использующих кириллицу? Можем. Так же и скандинавские саамы смогут понять написанное латиницей на кильдинском диалекте.

— Считаете ли вы, гражданин Чертков, подследственного Лужневского, Александра Гавриловича, специалистом в области языка?

Вставленное между прочим «подследственный» было расчетливым уколом, который наносит опытный бандерильеро обреченному быку. Иван Михайлович мог позволить себе не торопить оговоренного Черткова с ответом.

— Лужневский, Александр Гаврилович, — наконец заговорил Чертков, — известный специалист в области языка. Его работы...

— Мы знаем его работы, — оборвал Михайлов. — Вопрос. Почему подследственный Лужневский осознал преступный характер вашего замысла и уже в прошлом, 1937 году выпустил саамский букварь, написанный русскими буквами?

— Почему преступный? — Чертков наконец понял, что это не разговор, что надо защищаться, голос его стал твердым. — Различные подходы к решению лингвистических задач не подлежат уголовной оценке!..

— Что подлежит, а что не подлежит уголовной оценке, решать будут органы! — Адажио в прелюдии перешло в аллегро виваче. Михайлов показал, что у него тоже есть металл в голосе. — Не уходите от ответа на мой вопрос, почему Лужневский отказался от преступного замысла, а вы нет?

— Поверьте мне, преступного замысла в составлении саамского алфавита латиницей не было. — Чертков старался говорить мягко, почти доверительно, не желая, чтобы его упорство раздражило следователя.

Михайлов покивал головой, давая понять, что другого ответа и не ожидал. На лице его можно было прочесть подобие скорбного сочувствия.

— Это ложь. Это обман. Других обманывайте. А мы вас видим насквозь.

Михайлов произносил эти слова, не вкладывая в них никакого чувства и краски, он даже смотрел куда-то в сторону, будто и говорил это для кого-то в стороне, как актеры, подыгрывая на репетиции, лишь проговаривают нужные реплики, не наполняя их чувством.

«Так допрос не ведут», — мелькнуло в сознании Черткова. Страшные слова, но с какой скукой, механически, с автоматизмом батюшки, принимающего шестьдесят восьмую исповедь перед причастием и с тоской видящего, что очередь не убывает...

Михайлов помолчал, то ли переводя дух, то ли сдерживая готовую выплеснуться ненависть к врагу, то ли что-то для себя прикидывая.

— Тогда ответьте на простой вопрос, — угрожающе спокойно, словно загоня патроны в обойму, привычно и не спеша проговорил начальник Ловозерского отделения НКВД Иван Михайлович Михайлов, — в какую сторону лицом разворачивает советского саама русский шрифт? Молчите? Тогда отвечу я. Он разворачивает советского саама в сторону России, его советской родины. А в какую сторону разворачивает советского саама иностранный шрифт? Он разворачивает его лицом к фашистской Финляндии! Вот почему вы не могли ответить на мой простой вопрос! Я вынужден вас задержать, — а дальше Иван Михайлович произнес слова, которые запомнились ему с первого допроса на Лубянке, где он с благоговением слушал самого Генриха Григорьевича Ягоду, в ту пору еще заместителя председателя ОГПУ при СНК: — Посидите, подумайте над моими простыми вопросами. Уверен, что вы найдете на них искренние, чистосердечные ответы.

— Но у меня командировка... — Егор Ефремович слышал свой голос и не узнавал его. — Я должен за это время...

— Вот вы ученый, гражданин Чертков, а не представляете, куда вас вызвали и где вы находитесь. — Следователь выдержал паузу и договорил: — И не представляете, как здесь нужно себя вести.

— Я командирован Институтом народов Севера... — Егор Ефремович не нашел ничего лучше сказать привычную фразу, открывавшую здесь все двери. — Мой долг ученого...

— Долг ученого вы отдадите в другом месте, — Михайлову было приятно поставить на место эту оглоблю с лошадиным лицом. — А сейчас ваш долг, гражданин Чертков, Егор Ефремович, сотрудничать со следствием. Ваш долг помочь нам разоблачить и обезвредить повстанческо-террористическую подпольную саамскую организацию. И срок вашей командировки, как вы выразились, будет зависеть от согласия или несогласия сотрудничать со следствием. Вы понимаете, что мы можем продлить срок вашей командировки. У нас командировки бывают и долгими, и дальними. — Здесь Иван Михайлович выразительно уставился своими синими глазами в потемневшие и округлившиеся глаза подследственного. Он видел, как сбилось дыхание у этого ученого, стало быть, понял, о какой «дальней» командировке ему сказано. Помолчал, переложил листочки на столе, выдвинул ящик, задвинул, словно забыл, что перед ним сидит человек. Много перед ним таких сидело. Нужно дать время, чтобы подследственный понял: выход у него только один. Наконец будто вспомнил про гостя, поднял на него свои васильковые глаза и спросил почти дружески: — Хочешь, чтоб отправили, куда не надо?

Михайлов знал, что эта странная, не для протокола, фраза, сказанная без угрозы, просто, на некоторых действовала не хуже угроз и «особых методов дознания». Он и сам не понимал, что после непробиваемой стены тяжких и неопровержимых обвинений, которыми окружал подследственного, растерявшегося, ничего не понимающего, не видящего выхода, переходя на «ты», предлагал другой, человеческий разговор, неформальный, открывающий лазейку, вселяющий надежду. Бывают минуты в жизни человека, когда ему больше всего нужны сочувствие и понимание.

Напротив миниатюрного, в сущности, следователя сидел громоздкий человек, побледневший во все свое вытянутое лицо, с похолодевшей душой, с остановившимися глазами, забывший дышать... Он ехал сюда, в общем-то, бодрым, уверенным в себе человеком. Не чувствуя за собой никакой вины, даже ловил себя на стыдливой мысли о том, что вот и ему открывается возможность заглянуть за ту непроницаемую завесу, за которой в последнее время исчезают самые неожиданные люди. Теперь он чувствовал всем своим существом, что эта завеса сейчас замкнется и отрежет его от жизни в ее беспредельных возможностях. И все зависит от того, что он сейчас скажет, вернее, от того, что хочет услышать этот негодяй...

Что самое быстрое на свете? Известно, мысль. Сколько же их пронеслось в чуть вытянутой огурцом голове Егора Ефремовича Черткова. «Я или... он?» Егор Ефремович даже про себя не стал называть Алдымова ни по фамилии, ни по имени, просто «он», словно неведомо, о ком шла речь. И тут же себе ответил: «Я». Дальше последовали убедительные доказательства верности выбора: «Польза, которую принес и еще принесу стране и науке я, несоизмерима с его провинциальным краеведением». Брошен был на весы и букварь: «Мой букварь или его? Мой!» А самая убедительная мысль мелькнула, как молния, внося последнюю ясность: «Он пожил, а у меня вся жизнь впереди».

«Умный, кажется, все понял», — подумал многоопытный младший лейтенант.

— Когда я пойму, что вы от меня ждете, быть может, я сумею вам помочь... — Егор Ефремович услышал произнесенные им слова, словно со стороны, такие странные и неожиданные, словно подсказанные Калининым со стены.

Михаил Иванович на портрете, единственный свидетель разговора, смотрел на Черткова одобрительно, без укоризны, по-отечески, ласково...

Михайлов пропустил сказанное мимо ушей, важнее было то, что он видел перед собой, видел не первый раз. «Теперь пусть поговорит. Когда сказано главное, надо дать поговорить. Это их успокаивает».

— Рассказывайте. — Иван Михайлович отложил перо, откинулся на спинку стула, всем видом показывая, что решил передохнуть. — Вы же дружите с Алдымовым. Сами же себя называете «друг дома».

Черткову было неприятно услышать это от следователя.

— «Друг» — это, понимает ли, вежливое преувеличение. Здесь, в Мурманске, Алдымов — фигура заметная. Он умеет располагать к себе людей. А много ли надо бесприютному холостяку? Приходится сближаться с людьми, которые отвечают хотя бы одной стороне моей души. Человека, которому я мог бы доверить свою душу, я, конечно, искал, но не встретил. Я, может быть, вообще занимаюсь не своим делом. Во мне еще в детстве заметили склонность к писательству. Извините, увлекся. — Чертков даже улыбнулся. Видел бы он эту улыбку! — Да, признаюсь, я испытывал к Алдымову симпатию. Но как бы это точнее выразиться, понимаете ли... Симпатии имеют свой предел насыщения. Стоит его перейти, как натыкаешься на что-то непреодолимое. Наступает отчуждение, усугубленное чувством потери прежней близости.

Чертков поймал себя на мысли о том, что ему никогда не приходилось говорить о своем отношении к Алдымову, формулировать, и вдруг здесь он говорит искренне, легко и даже охотно, а главное, глубоко, как и должен говорить ученый. Пусть почувствует...

Михайлов почувствовал, что к «делу» все, что говорит сейчас этот отошедший от испуга детина, относится мало, это уже ни в допрос, ни в протокол, но слушать ему было интересно. Ему нравилось, что ученый говорит с ним не только как с равным, но вроде как по-товарищески, такое на допросах случается редко.

Чертков заметил, что взгляд синих глаз, устремленный на него, потеплел, а до этого был ледяным.

— Мне казалось, — Чертков видел, что его слушают, и слушают внимательно, а внимание аудитории всегда вдохновляет лектора, — что между нами существует то, что французы называют *abandon*, откровенность. Но моя откровенность была ему нужна лишь для того, чтобы питать чувство собственного превосходства. Как же, я здесь новичок, как, помните, говорят герои Джека Лондона, *чечако*, а он свой человек на любом саамском погосте. И то, что я титулованный ученый, а он самоучка, конечно, ставило нас в неравные положения. Я не искал убедить его в моей правоте, он принимал это за упрямство. Мне казалось, что у нас довольно общего, чтобы, не ссорясь, идти по одной дороге. Практической работы край непочатый. Всем хватит места — и верующим, и неверующим, как говорится, и постившимся, непостившимся, — неожиданно для себя ввернул Чертков из пасхального слова Василия Великого.

— Мы знаем, что советская наука идет сегодня семимильными шагами вперед. Может быть, я не прав?

— Совершенно правы, — с готовностью подтвердил Чертков.

— Я в этом не сомневался. Скажите, нужен ли сегодня советской науке ученый-самоучка, у нас что, не хватает настоящих ученых? — в голосе Михайлова прозвучала искренняя забота о советской науке, даже сострадание.

— На определенном этапе энтузиасты, собирающие фактический материал, исследующие среду, подолгу живущие рядом с объектом исследования, оказывают серьезную помощь науке. Но на каком-то этапе, когда требуются базовые знания, когда от эмпирического, так сказать, этапа мы переходим к аналитическому и синтетическому, здесь амбиции самоучек могут быть даже вредны. Это диалектика. Жизнь не стоит, понимаете ли, на месте. То, что было хорошо в свое время, на своем этапе, может стать в какое-то время даже вредным.

— Оставим диалектику в покое. Вы мне скажите, сегодня, не вчера и не позавчера, сегодня Алдымов нужен саамам, нужен науке? — голос Михайлова был по-человечески заботлив. Болит душа у младшего лейтенанта о саамах, тревожится сердце за советскую науку.

— Не знаю, так ли уж нужен он сегодня саамам, советская власть всесторонне о них заботится, а для науки пользы от ученых-самоучек сегодня не много, даже мало...

— Вы сказали, что от таких помощников сегодня советской науке может быть даже вред. Вы сможете повторить это на очной ставке?

— Если в этом есть необходимость...

— Может, Егор Ефремович, возникнуть такая необходимость.

Следователь слушал так заинтересованно и говорил так мягко, что казалось, еще немножко, и можно будет... пожалуй что, и расстаться друзьями.

«Самое время ему все объяснить, пусть поймет, что я ни с какой стороны, ни к чему *такому* никаким боком не могу быть причастен».

— Я узкий специалист. — Егор Ефремович постарался улыбнуться. На этот раз улыбка вышла вполне правдоподобной. — Наука, понимаете ли, требует от нас, ученых, особого зрения. Для того чтобы видеть далеко, нужно смотреть, устремив взгляд в одну точку, не отвлекаться по сторонам. Меня могут упрекнуть, я не знаю жизни... Согласен. Виноват. Не знаю. Жизнь настолько пестра, чрезвычайно многообразна, я не могу отвлекаться, как говорится, глазеть по сторонам. Я смотрю по прямой линии моей специальности...

— Вы хотите сказать, что могли проглядеть, не увидеть заговор, вызревавший рядом с вами? — Иван Михайлович потянулся, такие вопросы задают просто так, от скуки, для разговора, иначе *их* можно спугнуть. — Вы допускаете, что такой заговор мог происходить рядом с вами?

— Да все что угодно могло происходить...

— Я вас спрашиваю не про «все что угодно». Я вас спрашиваю о заговоре. Ответьте. — Отдохнувший Михайлов придвинулся к столу, взял ручку и обмакнул перо в чернила.

Чертков похолодел. Этот сморчок с солдатской школой ликвидации безграмотности, а в лучшем случае с курсами младшего комсостава за плечами так ловко обошел выстроенную им, без пяти минут профессором, казавшуюся такой надежной защиту. Что последует за признанием того, что у него под носом мог *происходить* заговор, просчитать было легко.

Где ж ему было знать, что Иван Михайлович таких «незрячих», ничего вокруг себя не видящих, повидал и в Москве, и в Ленинграде. Вроде умные люди и образованные, а приемчики, чтобы уйти от ответственности, можно по пальцам пересчитать.

— Повторить вопрос?

— Как вам сказать... Видите ли, по здравому разумению, если я признаю, что могло происходить «все что угодно», то надо допустить и возможность самых невероятных событий...

— Не делайте следствию одолжения, мы ни в ваших одолжениях, ни в чьих других не нуждаемся. Мне нужно записать в протокол, ваш ответ: допускаете или не допускаете, что у вас, как вы выразились, под носом мог происходить враждебный заговор? Ответ будет записан так: Я, Чертков, Егор Ефремович, на вопрос следствия: «Допускаю ли возможность наличия враждебного заговора среди сотрудников» — отвечаю...

Иван Михайлович дописал вопрос и поднял глаза на подследственного.

Надо думать, у Небес не было иного наказания для дрогнувшей души, нежели дарования ей долгой-долгой жизни, чтобы во всякий день она искала себе оправдание, но так и не нашла до последнего дня на девяносто восьмом году земного пребывания. Он никогда не задавал себе вопрос, а как бы он ответил на предложение Ивана Михайловича сегодня, не задавал, потому как знал, что и сегодня ответил бы так же.

5 апреля 1938 года Иван Михайлович провел очную ставку между Алексеем Кирилловичем и Егором Ефремовичем. Протокол, который, скорее всего, велся, а может быть, и был сочинен позднее, пока отыскать не удалось.

Известно только, что Егор Ефремович по делу о повстанческо-террористической подпольной саамской организации, к созданию которой, по убеждению начальника Ловозерского НКВД, имел самое прямое отношение, в качестве обвиняемого не привлекался и репрессирован не был.

Младшему лейтенанту Михайлову, не имевшему филологического образования, неопровержимо удалось доказать, что оба саамских букваря — и написанный «латинским шрифтом», и написанный «русским шрифтом» — были составлены так, что готовили юных саамов с молодых ногтей стать в ряды националистических повстанческих формирований. Разоблаченные заговорщики сами его правоту один за другим охотно подтверждали,

В ловозерской школе обучались немногим больше полутора сотен мальчиков и девочек, и далеко не все они были саамами. Были там и коми-ижемцы, финны и представители других народов, учившихся по русским букварям.

Так что заготовленных саамских букварей было вполне достаточно для подготовки нескольких поколений саамов в повстанческом духе.

Антисоветские буквари, изданные в количестве одной тысячи четырехсот семидесяти экземпляров, разоблаченные и обезвреженные младшим лейтенантом госбезопасности Михайловым, будут изъяты и уничтожены. А новый букварь появится ох как не скоро...

## 20. СЛЕДСТВИЕ ВАМ НЕ ВЕРИТ!

В строгом соответствии с законом в четвертый отдел Мурманского окружного отдела НКВД начальнику отдела сержанту госбезопасности Шитикову из Ловозера пришел запрос. Сержант Шитиков с ним ознакомился, начертал внизу «Согласен» и отнес начальнику Мурманского окружного отдела НКВД старшему лейтенанту Тищенко.

Старшему лейтенанту госбезопасности Тищенко осталось только подписать «Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения гр-ну Алдымову, Алексею Кирилловичу, 1883 года рождения, русскому, уроженному деревни Ручьи, Тосненского района, бывшей Новгородской губернии, служащему, гражданину СССР, работающему директором Мурманского краеведческого музея».

После этого начальник четвертого отдела сержант Шитиков предписал оперативному уполномоченному четвертого отдела Шкодину негласно сопровождать гражданина Алдымова А. К. во время его командировки в Ловозеро, отмечая контакты и предотвращая возможность скрыться.

Алдымов был арестован лично Иваном Михайловичем Михайловым в Ловозере, куда прибыл в командировку в негласном, но очевидном для Алексея Кирилловича сопровождении не очень-то и скрывавшего себя «опера» Шкодина, одетого в толстое полупальто на вате и в служебные утепленные сапоги с ремешками под колесками. Стянутые ремешки плотно закрывали голенища на случай погони по глухому и рыхлому снегу.

Алексей Кириллович несколько не удивился, если бы получил повестку в Мурманское отделение НКВД. Он был уверен, что рано или поздно его пригласят, вызовут, привлекут... Скорее всего, это могло быть связано с Серафимой Прокофьев-

ной. Хотя она и была осуждена, как ему было сказано в органах, на десять лет без права переписки, Алдымов не оставлял надежды добиться в высших инстанциях отмены нелепого обвинения и тяжкого приговора. Страшно было подумать, Светику будет двадцать два, когда она вернется.

Получив повестку в Ловозерское отделение НКВД, Алдымов сразу догадался о том, что его вызывают по «делу Черткова», который из командировки в Ловозеро не вернулся, и, как стало известно, там его взяли. Как-то незаметно в обиход вошло словечко «взяли» вместо юридически точного «арестован». Надо думать, здесь почти бессознательно работал защитный инстинкт. «Взяли» — это еще что-то неокончательное, безусловное юридически. «Арест» — это про преступников, шпионов, подпольщиков, а «взяли» что-то почти домашнее, бытовое. Ну, взяли, ну, отдадут. «Не отдали? Ну, нет дыма без огня. Мы не все знаем. Никогда бы не подумал, что такой человек мог оказаться...»

Если уж «дело Серафимы Прокофьевны» не стало поводом для его ареста, рассуждал Алексей Кириллович, то неведомое обвинение своего ученого оппонента не несло в себе никакой угрозы. Но и на несколько дней оставлять Светозара одного совсем не хотелось. Хоть паренек после того, как в доме не стало хозяйки, разом повзрослел, стал самостоятельным, но двенадцать лет, даже с половиной, это немного.

Ивану Михайловичу Михайлову Алексей Кириллович Алдымов с первого взгляда сразу не понравился. Через его руки прошло уже немало народу, разного народа, и вот эти, на чьих лицах было написано «ученый», доставляли больше всего мороки.

Заполнен первый лист протокола допроса: фамилия, имя, год рождения 1883-й, семейное положение... Услышав: «Женат с 1923 года на Серафиме Прокофьевне Глицинской», Иван Михайлович про себя усмехнулся, но исправлять на «вдовец» не стал. Считает, что женат, пусть женат, какая разница. Родители? Отец лесник, из крестьян. Когда по возрасту не смог работать в лесу, стал садовником. Мать? Нет, не живы, оба. Родственники? Алдымов назвал обоих старших сыновей Серафимы Прокофьевны и Светозара.

— Партийность?

— В настоящее время беспартийный. В 1904–1906 годах состоял в РСДРП.

— Договаривайте. Во фракции меньшевиков, — не глядя на подследственного, делая запись в протоколе, произнес Михайлов, сопроводив свое уточнение демонстративным вздохом. Сколько еще таких уточнений впереди! — Образование? — спросил младший лейтенант и подумал, что места в анкетной строке не хватит.

— Никакого.

От неожиданности Михайлов насторожился. Вот так ученый!

— Но какие-то учебные заведения вы заканчивали?

— Не заканчивал.

— А считаетесь ученым? — Михайлов еле сдержал улыбку. Вон они, какие ученые-то, оказывается, если копнуть! — Что писать будем?

— Я в этой графе обычно пишу «самообразование». Можно добавить «не ниже среднего».

— И книги пишете?

— Пишу.

— И статьи пишете?

— И статьи.

— Какие языки знаете?

— Русский. Саамский. Немецкий. Английский.

— Шведский знаете?

— Читаю со словарем.

Алдымов не мог знать, что именно письмо на шведском обретет в руках следствия убийственную силу.

— О чем ваша книга «Лопари»?

— О лопарях... Кольского полуострова. История. Расселение. Рождаемость. Смертность. Ассимиляция. Хозяйственный быт.

— Это я не для протокола, а просто для себя хочу вас спросить, — Михайлов положил перо на край чернильницы. — Как же вы, не имея образования, пишете про саамов книги? У меня тоже есть кое-какое самообразование, а ведь я книг не пишу.

— Вы тоже можете. Выучите саамский язык. Научитесь различать его диалекты. Объездите Бабинский, Мотовский, Нотозерский, Краснощельенский и остальные погосты и становища, их, к сожалению, не так уж и много. В Ловозере тоже интересный народ. Поговорите с людьми. Соберете материал. Получится книжка. Изучить язык или какой-то предмет не так и сложно. Нужны только книги и время.

— Да, со временем-то как раз туго... — сокрушенно произнес поглощенный службой офицер, первый раз в жизни пожалев об упущенной возможности стать беззаботным ученым. Раньше он и не знал, что это так просто.

Иван Михайлович вспомнил свою поездку в Краснощелье и, подавив вздох, дескать, вот чем приходится заниматься, вместо того чтобы тоже книжки писать, подвинул первый лист протокола и протянул перо:

— Прочитайте и подпишите.

Алдымов пробежал глазами листок, поправил две ошибки и подписал.

— Что вы там исправили? — раздраженно спросил Михайлов.

— «Самообразование» пишется вместе.

«Учить вздумал, нет, здесь я тебя поучу», — Михайлов собирался начать помягче, но теперь передумал.

— С моим образованием я получаю одну зарплату. А вот вы умудряетесь с вашим самообразованием получать аж две зарплаты. Деньги от Комитета Севера при ВЦИК получали?

— Я могу предъявить копию моего письма товарищам во ВЦИК и перечень расходов, подтвержденных соответствующими квитанциями.

— Смотрю, вы к допросу уже загодя готовились.

— Ни к какому допросу, извините, я не готовился. Просто деньги требуют учета и отчета. Так уж привык. И так. На радио в Ловозере — сто рублей. На карбасы для речных переправ — сто рублей. На радио в Иоканьге — четыреста рублей и шестьдесят рублей в доплату за помещение. Это то, что я получил, и то, что я потратил.

— И о чем же вы пишете вашим товарищам во ВЦИК?

— Прошу сохранить за мной эту зарплату, чтобы я мог расходовать ее на помощь лопарскому населению. Наличие в моем распоряжении небольших финансовых средств позволяет избежать проволочек, переписки, согласований в решении текущих дел. Могу представить отчеты по тратам на гервасских, пулозерских, экоостровских и мотовских лопарей. Естественно, отчеты, платежки у меня дома.

Подписав первый лист протокола, Алдымов не выпускал из рук перо.

Взяв вставку из рук Алдымова, Иван Михайлович сразу перешел к делу.

— Ладно. С вашими денежными делами, кому надо, разберутся. Я вас вызвал не для этого. Хочу вас предупредить, Алексей Кириллович, что вам придется дать честосердечные показания о вашей враждебной диверсионно-террористической деятельности, — и, не дав прийти в себя ошеломленному подследственному, тут же добавил: — Помните с самого начала, что ваши признательные показания я из вас выблюю. Рано или поздно, но выблюю.

— Почему вы мне угрожаете? — спросил Алексей Кириллович и тут же подумал о Светозаре. Такой разговор быстро не кончается. Каково ему там одному в доме?

— А как же с вами разговаривать? — жестко спросил офицер в синей гимнастерке. — Вы и ваша организация представляют угрозу для страны, а вам угрожать нельзя. А врагам мы не только угрожаем...

«Как много злобы умещается в этом маленьком человеке... И голова-то с репку... Чего он хочет?»

— Ваши слова вызывают во мне боль и стыд.

— Мои слова должны вызвать у вас только одно — желание дать признательные показания.

— Но я не знаю никакой организации, враждебной нашей стране. Откуда этот вздор?..

— Не оскорбляйте органы словом «вздор». Вы спрашиваете: откуда? — Этот кучерявый с лбищем, с красивыми глазами, с рожей, от которых млеют бабы, начал его тихо бесить. — Вы спрашиваете меня: откуда? Вы ждете, что я вам расскажу о нашей агентурной работе, о том, как органы выявляют врагов нашего строя? Зачем вы спрашиваете? Может быть, вам за это тоже платят еще одну зарплату? — Удачный ответ Ивана Михайловича заметно остудил Алексея Кирилловича. — Вон вы какой любопытный, Алексей Кириллович, — наслаждался своим успехом следователь. — Вы отказываетесь отвечать на вопрос о возглавляемой вами диверсионно-террористической организации? Я правильно понял?

— Правильно. Я понятия не имею ни о какой подпольной диверсионной или еще какой-то там организации, — сказал Алдымов, чувствуя, как ему не хватает воздуха. «О чем же спрашивали Симу? Вот так же?..» — ужаснулся Алдымов.

Михайлов склонился над протоколом и не спеша записал обстоятельный вопрос и коротенький ответ.

— Говорите, что понятия не имеете, а знаете, что она подпольная. — Михайлов счел уместным здесь чуть улыбнуться и покачать головой. — Давайте говорить начистоту. Зачем у вас в музее хранятся материалы по меньшевикам, по эсерам? Какое отношение к краеведению имеют материалы английской контрразведки?

— Есть так называемый коллекционный принцип. Собираем все, потом классифицируем, распределяем по отделам, по темам, что-то отбирается в экспозицию, что-то идет в фонды...

— А что-то и в списки недовольных соввластью!

— Наш долг — собирать все ценные исторические источники...

— А наш долг — предотвращать вылазки врага! — Михайлов был в ударе и мысленно благодарил Шитикова. — Коллекционеры! Выявляете тех, кто боролся с нами, кто состоял во враждебных партиях. Выявив контингент своих будущих сторонников, зачем же хранить материалы дома под полом, пожалуйста, хоть на витрине. Теперь вы понимаете, почему вас пригласили рассказать о созданной вами подпольной антисоветской террористической организации?

— Еще раз со всей ответственностью заявляю: никакой подпольной организации не знаю и отношения к таковой не имею, — твердо сказал Алдымов.

— Хорошо. Отказ от содействия следствию может вам очень повредить. Очень. Вы взрослый человек, можно сказать, ученый и понимаете, что ваше позднее раскаивание в запирательстве уже вам не поможет. А вы раскаетесь в том, что отказались сотрудничать со следствием.

— Я не отказываюсь... Я готов отвечать на любые конкретные вопросы, а не опровергать фантастические обвинения.

— Ну что ж, посмотрим, насколько искренне вы говорите о желании сотрудничать. Вот вам совершенно конкретный вопрос. — Иван Михайлович обмакнул перо в чернильницу и начал писать вопрос, повторяя его вслух: — Расскажите... С кем... вы... связаны... из антисоветских лиц... в педтехникуме? — дописал и, не кладя ручки, взглянул на Алдымова.

— Никаких антисоветских лиц я в педтехникуме не знаю и связи с таковыми не имел и не имею.

Михайлов внес ответ в протокол, повторяя его вслух.

— А с Чертковым вы знакомы? Может быть, нет? — спросил следователь.

— Не только знаком, мы с ним коллеги. Педтехникум — это лишь одно из мест его работы.

— Нам известно, что по контрреволюционной деятельности вы были связаны в Мурманске с Чертковым. Дайте исчерпывающие показания по этому вопросу.

— Ни о какой контрреволюционной деятельности Черткова я не знаю, наше сотрудничество связано только с научной и педагогической работой. — Алексей Кириллович вдруг почувствовал, что перестал понимать русский язык. Он, легко отличавший оттенки саамских диалектов, перестал понимать русские слова. Они звучали как на чужом, утратив привычный смысл, наполнились враждебным, каждое слово несло угрозу.

— Не прячьтесь, Алдымов, за научную и педагогическую работу. Рассказывайте о вашем знакомстве с Чертковым.

— Мы познакомились с Егором Ефремовичем в Мурманске...

— С каким Егором Ефремовичем? — рука, заносившая ответы в протокол повисла, а в голосе Михайлова прозвучала интонация учителя, уставшего повторять одно и то же.

— С Чертковым, Егором Ефремовичем, я познакомился в 1925 году... нет, даже, пожалуй, в конце 1924 года...

— Точнее, Алдымов, вы же, можно сказать, ученый, даты должны хорошо запоминать, — Михайлов, не поднимая головы от протокола, ждал.

— Нет, все-таки это было начало 1925 года. Чертков приехал в Мурманск для знакомства с саамским населением, проживающим по реке Тулома. Ко мне Чертков в указанное время прибыл с рекомендательным письмом от этнографа профессора Штейнберга. В результате этой поездки Чертков написал письменный доклад об экономическом положении саамов Кольского района. Содержания доклада Черткова не помню, но помню, что этот доклад не давал каких-либо ценных материалов об экономическом положении саамского населения, а больше отражал бытовую сторону жизни саамов.

— Вы говорите о том, что доклад Черткова не содержал ценных материалов, но! — здесь Михайлов поднял палец и уперся взглядом в глаза подследственного. — Повторяю. Но! На основании этих материалов Чертков выступил с предложением; ми, против которых вы резко возражали. Почему?

— Мне показалось, что предложения Черткова носят националистический характер.

— Так-так-так... Это уже серьезное признание. — Михайлов с готовностью записал.

— Но это не политическая позиция. Речь идет, как я полагал и полагаю, о чем и говорил открыто, об одностороннем подходе к решению вопроса о положении саамов.

— Вот и поясните, из чего получилась националистическая позиция у Черткова?

— Егор Ефремович... Чертков выступил с предложением создать большой национальный саамский район в приграничных с Финляндией территориях Северо-Западного округа. В этом и других подобного рода районах, по его мнению, местные органы власти должны состоять из саамов. Преподавание в школах в этих районах должно идти на саамском языке, и чуть ли не официальная переписка тоже на саамском. Егор Ефремович... Чертков широко пропагандировал свои взгляды и в разговорах, и в печати, и в официальных письменных докладах Мурманскому облисполкому.

— Троцкисты и зиновьевцы тоже широко пропагандировали свои взгляды, — напомнил Михайлов. — Кто разделял националистические взгляды Черткова?

Алдымов понял, что лучше не называть никого, но так не получится. Недавно умер Прохоров, председатель Кильдинского райисполкома...

— Помнится, Прохоров его поддерживал, из Кильдинского исполкома...

— Русский?

— Нет, саам.

— Еще...

— Герасимов Никон, тоже саам, инструктор Ловозерского райкома партии.

— А вы лично почему не разделяли, как вы говорите, националистические и контрреволюционные взгляды Черткова?

— О контрреволюционных взглядах Черткова я ничего не знаю. Могу говорить только о его отношении к национальной политике. Национальный вопрос, в том числе и вопрос сохранения саамской национальной самобытности, не должен решаться даже с минимальным ущемлением интересов других наций и народностей, проживающих на той же территории. Даже моноэтническим территориям в нашей стране нельзя присваивать национальные титулы. Деление территорий, соединяющих множество наций, должно быть сугубо административным.

— Алдымов, вы были не искренни, вы пытались прикрыть своего сообщника, но проговорились! Вы только что отказались говорить о контрреволюционных взглядах Черткова, но о его отношении к *национальной политике* говорить согласились! Значит, вы признаете, что национальный вопрос оторвать от политики не получается!

— Понятие «политика» очень широкое, мы говорим, к примеру, о сельскохозяйственной политике...

— Вы все пытаетесь меня учить, а я не для этого вас вызвал. Выше вы показали, что Чертков свои контрреволюционные и националистические взгляды пропагандировал через печать. Приведите конкретные факты такой пропаганды?

— О пропаганде контрреволюции я ничего не знаю и ничего не говорил. А свои взгляды на национальный вопрос он излагал и в разного рода публикациях, и в научных журналах, и даже в местной печати, отчасти они нашли отражение и в работе над саамским букварем.

— О букваре подробнее.

— Дай Бог памяти... в 1933 году Чертков при участии Осипова Якова и Матрехиной, оба саамы, написал на саамском языке букварь. Букварь был распространен среди саамского населения. Однако в 1935 году преподаватель Института народов Севера в Ленинграде Индюков, Федор Григорьевич, нашел в букваре записи, на его взгляд, носящие националистический характер.

— Может быть, не нашел, а вскрыл? Вскрыл! — подсказал следователь.

— Как вам угодно. По букварю был нанесен удар в печати...

— Кем?

— Все тем же Индюковым, Федором Григорьевичем, он обвинил составителей в национализме. И в Институте языка АН СССР и в Институте народов Севера начальство так перепугались, что учебники были изъяты и уничтожены.

— И как же вы, лично вы, относитесь к позиции Индюкова и начальства, как вы выразились?

— И начальственное умонастроение, и позиция Индюкова вызывают у меня чувство досады.

— Теперь следствию понятно, почему вы по-прежнему уклоняетесь от дачи показаний о своей контрреволюционной связи с Чертковым! — воскликнул Михайлов, словно история с букварем изобличала не только его создателей, но и не имевшего к этому букварю отношения Алдымова.

— Контрреволюционных связей у меня с Чертковым не было. Я был связан с Чертковым совместной работой по изучению саамов, по работе в Комитете нового алфавита, так же как с сотрудниками Института народов Севера, с коллегами по работе в Мурманском окружисполкоме.

— А вы допускаете, что они могли бы при известных обстоятельствах состоять и действовать в организации диверсионной и контрреволюционной?

— Да кто же мне дал право, без всяких к тому оснований, допускать столь серьезные обвинения.

— Мы даем вам такое право.

— Но я не могу им воспользоваться. Это равносильно праву на клевету.

— А вот я допускаю, что вы просто не хотите, вернее, боитесь выдать ваших сообщников.

— Сообщники? В чем? Да, мы оба участвовали в составлении саамского букваря. Так и в этой работе у нас были разные подходы к решению коренного вопроса, какой диалект и какой алфавит брать в основу языка для букваря. Здесь мы стоим с Чертковым в разных позициях.

— Предупреждаю вас, что Чертков рассказал как о своей, так и о вашей контрреволюционной деятельности.

— Что он мог рассказать о моей контрреволюционной деятельности, если я ее не вел.

— Он показал, что вы, так же как и он, являетесь участником подпольной контрреволюционной организации и занимались шпионской и прочей подрывной деятельностью против советской власти, и ваше заpiresательство глупо.

Алдымов замолчал, решительно не зная, на каком языке разговаривать с человеком, от которого отлетают все слова.

Почувствовав растерянность обвиняемого, Михайлов решил его добить.

— Вы все-таки не искренни, — с грустью и сожалением произнес Михайлов. — Вы умалчиваете о подготовке по вашему заданию участником контрреволюционной группы немцем Хантазеем убийства секретаря Ловозерского РК ВКП(б) товарища Елисеева. Намерены ли вы сказать правду?

Так, должно быть, чувствует себя человек, связанный по рукам и ногам, к которому подползла змея, объясняться с ней бессмысленно и от укусов уклониться невозможно.

Алдымов решил отвечать коротко и просто, чтобы проще было внести в протокол:

— Ничего я об этом не знаю, таких заданий я никому не давал. Считаю ваше обвинение нелепым и ни на чем не основанным.

Михайлов записал.

— Следствие вам не верит.

И эти слова были внесены в протокол, после чего три листа были протянуты подследственному для подписи-

## 21. ЧТО НАПИСАНО ПЕР ОМ

Уже на четвертый день после ареста Алдымов, совершенно добровольно, написал и направил в Мурманское управление НКВД письмо с просьбой разрешить Глицинской Екатерине Дмитриевне, проживающей в Мурманске, на улице Рыбачьей, взять под опеку его сына, Светозара Алексеевича Алдымова. Катя Глицинская, строго говоря, приходилась Светозару невесткой. Сводный же брат, сын Серафимы Прокофьевны от первого брака, все еще был под следствием, в заключении, и выступать в качестве опекуна не мог. Иван Михайлович предложил Алдымову дать согласие на опеку над Светозаром с подсказки коллеги Шитикова.

А Шитиков дал Михайлову честное слово чекиста в том, что муж Екатерины Глицинской, Сергей Глицинский, будет на свободе не позднее июня. «Еще успеет картошечку посадить», — не упустил случая пошутить начальник четвертого отдела.

Иван Михайлович в свою очередь уверил арестованного Алдымова в том, что Сергей Глицинский уже в начале лета будет на свободе. «Еще передачку от него получите. Даю слово!»

Вне всякого сомнения, Михайлов считал своим долгом разъяснить Алексею Кирилловичу закон и порядок, по которым несовершеннолетние дети родителей, пребывающих в заключении, направляются в спецучреждения. И лишь в порядке исключения, страшно рискуя своей головой, он готов, посредничая в установлении опеки, оставить Светозара «на свободе», так и сказал: «На свободе», — давая понять, что «спецучреждение» свободу значительно ограничивает. Само предложение дать согласие на опеку над Светозаром для Алексея Кирилловича послужило убедительным свидетельством того, что сына он не увидит долго.

Если первые два дня допросы происходили словно в сумерках и собеседники явно не понимали друг друга, то 10 марта пришли наконец ясность и полное взаимопонимание следователя и подследственного, не омраченное ничем и в последующие три дня.

Можно, конечно, предположить, что поворотным моментом в следствии стала какая-то взаимовыгодная договоренность, но тогда эти удивительные документы были бы скреплены подписью подследственного, а вот ее-то как раз там и нет. Это, конечно, упущение, впрочем, не повлиявшее на ход следствия и вынесение приговора.

В отличие от протокола первого допроса, теперь протоколы были написаны каллиграфическим почерком с нажимом и без помарок.

Болезненный укол ученого-самоучки насчет того, как пишется слово «самообразование», заставил Михайлова изменить тактику. Пришлось привлечь из ловозерской школы Людмилу Калистратову, учительницу русского языка, и мобилизовать ее как бы по комсомольской линии на помощь органам. Михайлов объяснил Людмиле, что делать тайну из того, что она помогает ему, не надо. Люди все видят. Научил ее, как говорить. Дескать, накопилось много канцелярщины, помочь некому, вот уполномоченный и попросил. Именно попросил. Содержание же протоколов является государственной тайной и разглашению не подлежит, о чем взял с Людочки подписку, прежде чем поощрительно ущипнуть ее для начала в пухлую щечку с ямочкой. Люда оказалась работником незаменимым, и протоколы, привезенные Михайловым для товарищеского совета Забелину в Мурманск, получили высокую оценку не только за ясность почерка, но и за ясность изложения вопросов и ответов. Все четко, грамотно и неопровержимо.

Людочка обмирала от страха, невольно узнавая о чудовищных замыслах врагов, разоблаченных нашими органами. При допросах она не участвовала, а протоколы, как бы начерно записанные Михайловым, он ей диктовал, а она уже переписывала хорошим учительским почерком. После работы с Михайловым она с неподдельным страхом, даже при яркой луне, шла домой по заснеженным улицам и, никогда ничего не боявшаяся, вздрагивала от каждой шевельнувшейся тени. В школе видели, как она переменилась. Но вопросов не задавали.

Храня государственную тайну, Михайлов диктовал «вопросы-ответы», не называя имен и фамилий, имена и фамилии он вписывал после ее ухода сам.

Вот протокол от 10 марта 1938 года.

**ВОПРОС.** Прекратите бесцельное запирательство и дайте правдивые показания.

ОТВЕТ. Убедившись в бесцельности заpiresательства, я решил рассказать всю правду. Признаю, что в силу моего происхождения, воспитания и окружения, по своим убеждениям и взглядам я являюсь человеком антисоветских и контрреволюционных настроений. Являясь агентом финской разведки, я собирал и передавал в Финляндию следующие сведения. 1. О численности и составе военных кораблей Северного флота, базирующихся в Мурманске. 2. О расположении погранзастав Мурманской Погранкомендатуры НКВД. 3. О политических настроениях финнов и саамов, населяющих Кольский полуостров.

ВОПРОС. Расскажите о вашей контрреволюционной деятельности.

ОТВЕТ. Да. Это я и сам вижу, заpiresаться бессмысленно, и должен признаться, что я действительно, до моего ареста, вел активную контрреволюционную работу и постараюсь все правдиво изложить в своих показаниях.

ВОПРОС. Давно пора это сделать. Начните с того, как и когда вы вошли в контрреволюционную организацию.

ОТВЕТ. Как вам уже известно, я в течение целого ряда лет занимался изучением Мурманского края. Особенно интересовался жизнью, бытом и языком саамов, лопарей, населяющих Кольский полуостров. На этой почве я познакомился с рядом научных сотрудников, работающих среди народов Севера, особенно часто я сталкивался с Чертковым и Лужневским. В результате длительного общения мы сошлись на основе общих антисоветских убеждений. Чертков и Антонов из Петрозаводска посвятили меня в то, что существует законспирированная контрреволюционная националистическая саамская организация, и предложили мне войти в нее.

ВОПРОС. Какие цели преследовала контрреволюционная организация, в которую вы были вовлечены Чертковым и Антоновым?

ОТВЕТ. Наша организация ставила перед собой задачу объединить все националистические силы среди саамов для борьбы с Советской властью. Подготовить соответствующие формирования, которые во время войны должны будут поднять восстание против Советской власти. В конечном счете эта работа должна была свестись к тому, чтобы добиться отторжения Кольского полуострова и соединения с Финляндией.

ВОПРОС. На какие же силы вы рассчитывали, строя такие широкие планы?

ОТВЕТ. Конечно, силами одних саамов мы такие планы осуществить не могли, и наша работа строилась в расчете на помощь Финляндии и Германии.

ВОПРОС. Следовательно, ваша организация имела связи с фашистскими организациями Германии и Финляндии?

ОТВЕТ. Информировав меня о ходе контрреволюционной работы, Чертков и Антонов сообщили, что аналогичная контрреволюционная националистическая организация существует в Карелии. Конечно, вся эта работа ведется под руководством фашистских организаций Финляндии, которые гарантируют предоставление автономии Карелии и Саамскому государству под протекторатом Финляндии.

ВОПРОС. Вы готовились к войне фашистской Финляндии против нас?

ОТВЕТ. Да, это была наша тактика, теперь не скроешь.

ВОПРОС. Чем вы должны были помогать фашистской Финляндии в период подготовки войны против СССР?

ОТВЕТ. Я уже сказал, что, кроме подготовки восстания против Советской власти, мы должны были вести диверсионную работу и террористическую работу, снабжать финские разведывательные органы шпионскими сведениями и распространять среди саамов идею Великой Финляндии.

ВОПРОС. Уточните, пожалуйста, что за идеи?

ОТВЕТ. Идея эта исходит из фашистских финских кругов и состоит в том, что Финляндия должна включить в свои границы все финно-угорские народности: мордву, карелов, марийцев, народы Севера. По этой идее Финляндия должна отторгнуть от Советского Союза территорию до Уральских гор.

ВОПРОС. Вы сказали, что существуют Карельский и Саамский националистические центры, назовите членов Карельского центра.

ОТВЕТ. С членами Карельского националистического центра я никогда не встречался и знаю о нем только по информации от Антонова. Других членов этого центра ни Антонов, ни Чертков мне не назвали. Практическая деятельность диверсионного центра заключалась в создании повстанческих террористических групп — Кемской, Олонецкой, Ловозерской, Архангельской, Юртинской и Мурманской, которые должны были вести активную контрреволюционную работу.

ВОПРОС. Уточните, какую работу должны были вести эти диверсионно-террористические группы?

ОТВЕТ. Разваливали колхозы путем саботажа и разложения дисциплины, хищением и порчей колхозного имущества, вести антиколхозную агитацию, совершения диверсионных актов путем поджога лесов и пастбищ, заражения оленей, путем ведения антисоветской агитации, распространяя контрреволюционные слухи. Также нужно было готовить повстанческие кадры из кулаков и белогвардейцев на случай боевых действий против СССР.

ВОПРОС. Где проходили совещания Саамского националистического центра?

ОТВЕТ. В полном составе мы, участники, националистического центра, ни разу не собирались. Но все действия центра проводились согласованно, это достигалось путем выездов Черткова и Антонова в Москву и Ленинград.

ВОПРОС. Каким образом вы намеревались достать оружие для восстания против Советской власти?

ОТВЕТ. На первое время мы должны были использовать нарезное оружие, имеющееся в большом количестве у саамов и ижемцев, охотников, пастухов-оленоводов. А затем оружие мы получили бы из Финляндии.

ВОПРОС. Вы обсуждали этот вопрос?

ОТВЕТ. Специально вопрос об оружии у нас не стоял, это было ясно и без обсуждения.

ВОПРОС. Вы правильно сделали, что начали сотрудничать со следствием. Надеюсь, вы не отступите от этой единственно верной линии. Назовите методы вашей контрреволюционной борьбы с Советской властью.

ОТВЕТ. Своим методом я избрал повстанчество, шпионаж, вредительство и активную националистическую агитацию.

ВОПРОС. А террор?

ОТВЕТ. Да, и террор, конечно, забыл о нем сказать.

ВОПРОС. Конкретно, пожалуйста.

ОТВЕТ. Я лично давал задания Саразкину, Матрехину, Каневу — поджигать ягель на оленьих пастбищах, разводить у оленей болезни, портить рыболовецкие снасти.

ВОПРОС. Какие болезни, к примеру, вы разводили у оленей?

ОТВЕТ. К примеру, болезнь «копытку», затрудняющую животным передвигаться по тундре и добывать пищу из-под снега.

ВОПРОС. Приводит ли болезнь «копытка» к гибели животных?

ОТВЕТ. Да, болезнь «копытка» приводит к массовой гибели животных в оленьем стаде.

ВОПРОС. Можете ли вы дополнить ваш рассказ о враждебной националистической и террористической деятельности.

ОТВЕТ. Да, мне осталось еще рассказать о нашей националистической и террористической агитации.

ВОПРОС. О практической деятельности, пожалуйста, а не об агитации.

ОТВЕТ. Пожалуй, вы, гражданин следовательно, правы.

ВОПРОС. Несомненно. Говорите о терроре.

ОТВЕТ. Совершение террористических актов мы, в частности, с Чертковым и Саразкиным наметили лишь во время поднятия вооруженного восстания...

Ну и что же за диверсанты и террористы, если они не замышляют громких покушений. И если подследственный отказался на первом допросе от организации покушения на Ловозерского секретаря райкома партии товарища Елисеева, то теперь, приведенный в состояние полной откровенности, он готов признаться в чем угодно. Как ни хотелось младшему лейтенанту госбезопасности Михайлову спасти товарища Сталина и товарища Ворошилова от грозящего покушения на их жизнь, но, перечитав написанное потными от страха руками Людочки чистосердечные признания заговорщика и террориста Алдымова, Шитиков со вздохом их порвал и бросил в печку. Горстка саамов с дробовиками и десятком разномастных винтовок как-то не соответствовала высоте лиц, на которых они могли бы поднять свое, даже не свое, а зверосовхозовское оружие. Шитикову пришлось опустить коллегу Михайлова, вдохновенно воспарившего к облакам, на холодную землю.

— Представь-ка, Иван, эту команду в своих шкурах да со своими берданками да самопалами у Мавзолея? — укорил младший по званию, но старший по должности, сержант Шитиков младшего лейтенанта Михайлова.

И оба рассмеялись.

Опытный сержант, начальник четвертого отдела Шитиков подсказал, как надо повернуть вопрос и ответ так, чтобы Михайлов все-таки отчасти выглядел чуть ли не охранником Кремля на дальних рубежах обороны.

ВОПРОС. Вы показали о терроре не все. Независимо от восстания вами намечалось убийство руководителей ВКП(б) и Советского Правительства.

ОТВЕТ. Да. Разговоры о совершении террористических актов над Сталиным, Молотовым, Ворошиловым действительно имели место. Говорил об этом я с Чертковым и затем в другое время с Саразкиным. Если я не ошибаюсь, это было в 1935 году. Впервые выразил эту мысль Чертков. Он тогда мне сказал, что смерть Сталина, Молотова и Ворошилова непременно ускорит и облегчит победу Финляндии над СССР, облегчится и наша работа по созданию Саамского государства. С Чертковым я был полностью согласен. Виновным себя в этом признаю. Вместе с этим категорически отрицаю свою виновность в попытке претворить на практике высказанную Чертковым мысль.

ВОПРОС. Вы проводили экскурсии с саамским националистическим уклоном?

ОТВЕТ. Да, я проводил экскурсии с саамским националистическим уклоном. Кроме этого, я читал лекции с саамским националистическим уклоном...

Шитиков внимательно читал каждый листок. К большому делу, где полдела уже было сделано, он относился с повышенной заботой. Хотелось, чтобы все прошло без сучка без задоринки.

— Гляди сюда, Михайлов, нескладушки у тебя. Смотри. В первом протоколе он, этот Алдымов, у тебя от этого... как его, от Черткова, от его националистических идей отрещивается. Так? А здесь что?

— С бумагой работать не то, что с людьми, — не удержался Михайлов. Хоть они и друзья, и общее дело делают, но выслушивать это все от младшего по званию неприятно. Да и переписывать протокол кому ж охота. — Смотри сюда, Шитиков. В первом протоколе арестованный все отрицал, вводил следствие в заблуждение, а следователь Михайлов поработал с человеком, и человек признался, что был не искренен. Не таких ломали, вот и встал на путь признательных показаний.

Звучало убедительно, Шитикову пришлось согласиться.

Ну что ж, теперь можно было с таким материалом выходить на руководство.

Гребенщиков и Тищенко благословили, и с их резолюциями материал пошел в Ленинград.

Дело вышло все-таки какое-то уж больно корявое, даже навело сомнение в Ленинграде, о чем было по-товарищески сообщено мурманским коллегам. Каких только врагов не повидали и не сокрушили товарищи из центра, да, видно, даже их поначалу вогнал в оторопь «саамский заговор». Конечно, враг использует любую возможность, чтобы сокрушить государство трудящихся, идет на любые ухищрения, на любое коварство, чтобы разорвать Страну Советов, но тридцать саамов, чуть ли не с дробовиками и берданками задумавших отторгнуть от СССР краюху от Мурманска до Урала да еще и на Кремль замахнувшихся, видно, заставили усмехнуться и многое повидавших бойцов в Ленинграде.

Чтобы протолкнуть дело, Тищенко командировал в Ленинград самого Михайлова: ты открыл заговор, вот и доводи дело до конца.

Пока Михайлов мотался, туда-сюда, искал своих старых товарищей по работе, заручался их поддержкой, сержант Шитиков получил то, что и хотел получить.

«В соответствии с Директивой НКВД СССР произведите конфискацию имущества лично принадлежащего осужденному по делу № 46197-38 г. Алдымову Алексею Кирилловичу, прожив. Мурманск, ул. Красная, д. 4.

Реализацию имущества следует оформлять через местные финансовые органы. Исполнение сообщить.

Начальник 8 Отдела УГБ сержант Р. Петруха».

Лично принадлежавший Алдымовым дом при «реализации имущества» отошел к начальнику четвертого отдела МО НКВД сержанту Шитикову.

## 22. ШИТИКОВ СЛОВ О ДЕРЖИТ!

Отпущенный 23 апреля на свободу сын Серафимы Прокофьевны прямо с порога, не раздеваясь, не давая жене и мгновения сказать хоть слово, решительно произнес: «Ни дня... Здесь больше ни дня... Куда угодно...»

От того, что он произнес это, не снимая теплого на вате пальто с надорванным меховым воротником, казалось, что схватит сейчас жену за руку и потащит на вокзал. Катя кинулась к нему, обхватила руками, словно боялась, что он опять исчезнет. Сергей обнял припавшую к нему жену.

— Что с воротником? — заметила Катя.

— С каким воротником? Не понимаю.

— Ничего, можно пришить...

— Там мне сказали, что мама и Алексей Кириллович арестованы и нам разрешили взять Светика под опеку. Вот втроем чем раньше, тем лучше...

— Сережа... Сереженька... — она целовала его лицо, слезы не давали увидеть, как он изменился. — Светик уже с февраля живет у нас... Я все расскажу...

— Вот и хорошо. Сегодня же подавай на расчет...

— Почему такая спешка? — Катя не выпускала мужа из рук, еще не веря своему счастью. — Надо дать Светозару закончить шестой класс, срывать с учебы в конце года... — промокнула слезы. — Господи, как ты изменился. Что там было?

Наконец Сергей понял, что он дома.

— Дай разденусь. Нет, собери мне белье. Сначала в баню. — Катя метнулась к шкафу, стала лихорадочно перебирать белье.

— Я не могу сейчас тебе рассказать все. Но, к счастью, там тоже есть порядочные люди. Мне там обещали помощь, обещали помочь освободиться, если мы не-

медленно уедем. Я не могу подводить человека... Я ему сначала не поверил, думал, какие-то их хитрости. Теперь мне перед ним стыдно. Оказывается, есть люди даже там. Теперь я верю, что и с отъездом помогут.

Из бани Сергей ввернулся, так и не помывшись. Была среда, день, когда мылись военные и для гражданских баня была закрыта. Можно было помывться в порту, там была своя баня, но Сергей не хотел никого видеть. Расспросы, объяснения... Нет уж, только в кадры и «по собственному желанию», именно так, по большому собственному!..

Дома Катя накипятила воды и успела его кое-как помыть в тазу на кухне до прихода Светозара из школы. С непросохшей головой Сергей тут же сел за стол, чтобы составить список неотложных дел, чтобы ничего не забыть.

— А дом на Красной? — спросила Катя.

Сергей оторвался от листа, посмотрел на жену.

— Дом не наш. Светик несовершеннолетний. Де-юре дом за мамой и Алексеем Кирилловичем. Заколотим, что еще делать...

Увидев Сергея дома, Светозар с порога бросился к нему с криком:

— А папа?!

— Все, Светик, все будет хорошо... — Сергей обнял припавшего к брату. Как и полагается старшему, он не мог сказать Светозару, что ни во что хорошее больше не верит. Верит только сержанту Шитикову.

Действительно, сержант Шитиков помог и освободиться, и с отъездом. Уехали, наскоро продав свои полдома на Рыбачьей улице. Уехали в Люблино, под Москву, к двоюродной сестре Серафимы Прокофьевны.

Там в ополчении Сергей и погиб весной 1942 года.

А Светозар, к слову сказать, в 1944-м с отличием окончил Челябинское артиллерийское и был направлен в артиллерию РКК. Под Рогачевом получил взвод, под Варшавой дали батарею, и, уже команду трехбатарейным дивизионом 152-миллиметровых пушек-гаубиц, дошел до Берлина, при взятии Берлина был контужен.

## 23. КОНЕЦ — ДЕЛУ ВЕНЕЦ

Собственно, историю «саамского заговора» можно было бы считать завершённой, если бы не последующие события. Громким эхо раскатился «саамский заговор» в конференц-зале Мурманского областного комитета ВКП(б), где проходила закрытая партконференция Окружного управления НКВД. Как всегда, непродолжительными, но от души идущими аплодисментами было встречено острое выступление члена парткома, начальника четвертого отдела сержанта Шитикова. Со знанием дела и чекистской непримиримостью Шитиков сорвал маску и разоблачил прокравшегося в органы НКВД младшего лейтенанта Михайлова, Ивана Михайловича. Собранию были предъявлены факты грубых фальсификаций и вопиющих нарушений социалистической законности при ликвидации так называемого, а по сути-то, дутого, с позволения сказать, состряпанного «саамского заговора».

Конец 1938 года выдался на редкость праздничным. Участники «саамского заговора» были наказаны, и успешно завершённое «дело» отправили в архив. Уже в феврале 1939-го Иван Михайлович Михайлов пошел на повышение — начальником НКВД в Мончегорск, это не лопарская дыра. Даже секретарь Ловозерского райкома товарищ Елисеев из безлюдного района был переведен секретарем горкома в Кандалакшу, которую только что из рабочего поселения сам товарищ Калинин рукоположил в город. Впрочем, к радости товарища Елисеева, пошедшего, безус-

ловно, на повышение, примешивалась мысль с горчинкой. Корил себя бывший секретарь Ловозерского райкома ВКП(б) за то, что, желая избавиться от «своего» энкавэдэшника, поспешил в административном отделе обкома рекомендовать товарища Михайлова на повышение. Если бы знал, что его самого через два месяца ждет перевод в Кандалакшу, пальцем бы не шевельнул, чтобы сказать доброе слово об этом «хорьке», загубившем столько толковых работников в краю и без того малолюдном.

Хорошо завершался 1938 год! А тут еще и Постановление о прекращении *массовых* репрессий подоспело, ну чем не жизнь!

Бывают «совершенно секретные» постановления, из которых почему-то не делают тайны. Таким было подписанное 17 ноября 1938 года секретарем ЦК ВКП(б) товарищем Сталиным и председателем СНК СССР товарищем Молотовым Постановление «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Высшая власть указала на ошибки и вопиющие нарушения при арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия. Зачем? Ответ вроде бы прост: для восстановления справедливости. Но разве не в соответствии с другими, более ранними постановлениями этой же самой высшей власти совершались именно эти несправедливости? Власть, пожелавшая быть справедливой, бывает непредсказуема и по-своему прекрасна.

Двадцати трех дней не дожил Алексей Кириллович Алдымов до исторического Постановления от 17 ноября 1938 года. А по этому постановлению, для начала, все не приведенные в действие приговоры с 17 ноября 1938 года теряли свою силу и подлежали пересмотру. Запрещались и произвольные продления сроков ссылки или лагерного заключения, практиковавшиеся кое-где, сплошь и рядом, лагерной администрацией. А вслед за тем приказом по НКВД от 26 ноября 1938 года были упразднены «двойки» и «тройки», вершившие скорый суд и суровую расправу.

Для полного торжества справедливости со своих постов твердой рукой были смещены влед за наркомом Николаем Ежовым и его верным замом Михаилом Фриновским многие ответственные работники, приложившие очень много сил для исполнения предыдущих постановлений ЦК и Совнаркома. Если самое большое начальство для начала только сместили, то с теми, кто работал в аппарате и на местах, не церемонились.

1939 год начался под знаком Постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия».

В первой части постановления, как и полагается, отмечались положительные итоги репрессий против бывшей внутренней оппозиции, кулаков, уголовников, «других антисоветских элементов», «национальных контрреволюционных элементов», вредителей и изменников родины.

Но борьбу нельзя было считать оконченной.

Что же воспрепятствовало полной победе над многоликим и многочисленным врагом?

Ошибки! Ошибки, допущенные НКВД и прокуратурой. Ошибки, повлекшие нарушение строгой законности.

К основным ошибкам следовало отнести отказ от сбора доказательного материала для изобличения врагов народа. Ошибочными следовало назвать и необоснованные и противозаконные массовые аресты, депортации, не говоря уже о многочисленных нарушениях самых элементарных норм ведения следствия.

Впрочем, от пристального взгляда товарищей Сталина и Молотова, подписавших постановление, не укрылись бесчинства, творимые во время следствия, не укрылись и остались тяжким, несмываемым пятном на совести врагов, проникших в органы НКВД и прокуратуру, вырвавшихся из-под контроля партии.

А может быть, все проще. Может быть, вождь знал или сердцем чувствовал, что цезарь должен опасаться своих гвардейцев...

Да, надо со всей исторической ответственностью признать, что затея младшего лейтенанта Михайлова хотя и пришлась ко времени, вписалась в кампанию, но прошла не так гладко, как всем хотелось, и оставила какой-то нехороший след в твердой памяти ленинградского начальства.

Гроном с ясного неба и испепеляющими молниями обрушилось постановление ЦК на утративших доверие партии сотрудников НКВД, допустивших вопиющие нарушения законности.

У дисциплинированных, добросовестных и честных работников сразу пелена упала с глаз.

И все увидели, что к руководству НКВД прокрались злобные враги и диверсанты. Ежов Николай Иванович и его усердный заместитель, комкор первого ранга Фриновский шумно покинули свои посты и переместились на новые, впрочем, в ранге наркомов. А розыск покатился со ступеньки на ступеньку, пока не дошел до «низовки», районного уровня, где каждое уважающее себя и закон управление НКВД, республиканское, краевое, окружное, областное, районное, должны были предъявить нарушителей и взыскать с них, невзирая ни на какие заслуги.

Была дана команда найти и наказать тех, кто нарушал советскую законность. И надо думать, не случайно именно в Ленинградском управлении НКВД поспешили вспомнить шитое «белыми нитками» дело о «саамском заговоре» и, чтобы чего доброго не объясняться с Генеральной прокуратурой, рекомендовали прокуратуре Мурманской, в порядке надзора, просмотреть это дело.

По всей стране прошли закрытые партконференции, посвященные положению дел в республиканских, краевых, окружных, областных и районных органах НКВД.

Основной доклад о том, какой яркий свет пролило постановление на положении дел в Мурманском УНКВД, делал сам первый секретарь обкома Иван Максимович, что по-своему символизировало возвращение всей полноты власти по принадлежности. От его пристального взгляда не утаились и малые прегрешения, пробравшихся к руководству Окружного отдела НКВД начальника старшего лейтенанта Гребенщикова, его заместителей лейтенантов госбезопасности Попова и Малинина, руководителей отделов Тищенко, Терехова, Школьника, Уральца, Юдашкина, следователей Шкаревского, Казанского, Масляева, Кирсанова и начальника Мончегорского, а до того Ловозерского РО НКВД младшего лейтенанта Михайлова.

По правилам больших армейских совещаний названный в докладе офицер, присутствующий в зале, если докладчик делал крохотную паузу, обязан был встать. Все пробравшиеся в органы враги, еще не исключенные из партии, еще не арестованные, сидели в зале и теперь поднимались в разных его концах. Вставали бледные, стояли ровно и благоговейно внимали премудрости, в докладе изреченной, и садились на место, как отпетые покойники, после того, как звучала следующая фамилия. В их кабинетах, как сказал в своем выступлении Иван Максимович, при обыске были обнаружены черновые проекты протоколов допросов, заготовленные по заранее разработанным схемам. Там же были найдены перехваченные письма арестованных, адресованные в ЦК ВКП(б) с жалобами на незаконный арест и преступные методы следствия. Говорил он пламенно, горячо, а слушали с воодушевлением и с тайной надеждой на то, что твое имя, Бог даст, не прозвучит «во второй половине доклада». Иван Максимович горько сетовал на то, что органы оторвались от контроля партии. «От вас оторвешься, — думали про себя чекисты, — если без санкции партийных органов члена партии нельзя даже арестовывать». Иван Максимович искренне удивлялся и возмущался низким уровнем обра-

зования сотрудников НКВД, многие чекисты-коммунисты оказались безграмотными, особенно начальники. Из поименованных руководителей лишь у одного было среднее образование, у остальных — неполное среднее и начальное. Поскольку как раз на бюро обкома проходила процедура утверждения каждого из этих безграмотных начальников, Ивану Максимовичу пришлось в порядке самокритики обратить внимание на недостаточную требовательность бюро!

— Правильно указывает товарищ Берия, возглавивший Наркомат внутренних дел, — гудел с трибуны Иван Максимович, — надо обуздать тех, кто без взвешенного подхода, без предварительного анализа всего обвинительного материала по каждому отдельному арестованному устраивали массовые операции.

Иван Максимович для наглядности привел пример про массовую акцию в Солтонском районе Алтайского края. За один месяц, ноябрь 1937 года, там было арестовано свыше двухсот человек. Военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела материалы по этой акции. По результатам проверки начальник УНКВД по Алтайскому краю С. П. Попов отстранен от должности, лишен звания и отдан под суд. Его ждет суровое наказание. С особым удовлетворением Иван Максимович прочитал о том, как товарищ Берия, приняв пост народного комиссара внутренних дел, отменил семнадцать приказов, циркуляров и распоряжений, изданных Ежовым с июля 1937 года. Отныне для ареста необходима письменная санкция прокурора. А имущество арестованных подлежит строгому учету. «Следует признать, — подчеркнул далее в своем докладе Иван Максимович, — что кое-где существовала практика утаивания материальных ценностей, за счет чего во время массовых операций шло обогащение пробравшихся в органы врагов».

С острым критическим выступлением вышел на трибуну сержант Шитиков, начальник четвертого отдела.

Когда готовился партактив, сержант Шитиков, самый веселый и безотказный член парткома, сам вызвался выступить по «саамскому заговору». «Знаю я этого Михайлова, карьерист и пройдоха, не зря же его из Ленинграда поперли...»

На трибуну Шитиков поднялся легко, как вбегает на ринг боксер, уверенный в своей победе.

— Товарищи, что я хочу сказать... — он всегда начинал свои выступления по-свойски, что заставляло коллег переглядываться и улыбаться. Но сегодня было не до улыбок. — Вот передо мной выступал сержант Кучер. Хорошо говорил, по-чекистски прямо, но я с ним не согласен. — Шитиков знал, что в этом месте зал замрет. И зал замер. А президиум насторожился, и лица, покрасневшие от долгого сидения и напряжения, словно красные флаги под ветром, повернулись разом в сторону трибуны.

— Да, не согласен! — стоял на своем бесстрашный Шитиков. — Говоря о вопиющих нарушениях при проведении репрессий на Кировской железной дороге, сержант Кучер сказал: «Партия с особым вниманием относится к транспортникам». Нет, товарищ Кучер, партия ко всем, ко всем относится с особым вниманием!

Последнюю фразу Шитиков выкрикнул так задорно, что зал облегчился бурной овацией. В президиуме одобрительно улыбнулись и обозначали аплодисменты вялым сближением ладоней, изрядно натруженных во время основного доклада.

Теперь можно было перейти к делу.

— Я не случайно подчеркнул: ко всем. Речь пойдет о саамах. Да, и к ним, маленькому племени, затерявшемуся на необъятной территории нашей Родины, партия тоже относится с особым вниманием. И это не просто слова. Правильно сказал наш первый секретарь обкома товарищ Иван Максимович, — для сердечности Шитиков вдруг забыл фамилию первого секретаря. — Органы вырвались из-под контроля партии, и Михайлов туда же. Товарищ Елисеев, бывший секретарь Ловозерского райкома, не раз сигнализировал о том, что начальник Ловозерского

РО НКВД младший лейтенант Михайлов устроил чуть ли не охоту на саамов. Как иначе назвать этот пресловутый «саамский заговор»?.. Партия нас учит о том, что поспешность и увлечение, как сказал Иван Максимович, порождают ошибки. Но «саамский заговор» не ошибка, не результат поспешности и увлечения. Так что же это? Не хочу брать на себя роль судьи, пусть суд скажет, что такое «саамский... с позволения сказать... заговор». Грубо исполненное дело сразу навело сомнение в Ленинграде, вот и пришлось Михайлову ехать в Ленинград, где он это дело доделывал и проталкивал.

До Михайлова, только начавшего обживать в Мончегорске, уже стали доходить разного рода сведения о готовившемся партактиве. Он и сам готовился ехать в Мурманск с выступлением о вопиющих нарушениях закона, творившихся до его приезда в Мончегорске, утопавшем в дымах пущенного в срок металлургического комбината. Неожиданный обыск в его служебном кабинете, отстранение от должности и уже не приглашение, а вызов в Мурманск на партактив рвали вострепетавшее сердце Ивана Михайловича на части. Он не ждал для себя ничего хорошего, но меньше всего он был готов к тому, что «о саамах» заговорит Шитиков. Вадька, у которого уже вместо крови по жилам должен течь коньяк, влитый в него другом Ваней Михайловым!

— Я считаю, — сказал товарищ Шитиков, — что проходившие по делу о так называемом «саамском заговоре» арестованные и понятия не имели о наличии какой-то там контрреволюционной организации. Да, они являлись просто антисоветскими элементами. Органы просто так никого не арестовывают, а вот показания о своей принадлежности к организации дали в результате применения Михайловым физических методов... С начала операции, и в особенности под конец ее, имело место грубое нарушение процессуальных норм. Методы следствия с начала операции, и в особенности под конец ее, были извращенными, а именно: к арестованным применялась «стойка», продолжительность допросов доходила до шести-семи суток. Физические методы воздействия далеко не ко всем, но к значительной части применялись. Кстати, не будем закрывать глаза, ведь и у нас по инициативе Янишевского была организована для «стойки» камера номер семнадцать, здесь обвиняемые длительное время стояли. И дело не только в Михайлове. Давайте вот здесь, в этих стенах, перед лицом первого секретаря обкома сознаемся: таков был стиль работы в нашем управлении. В частности, я сам по указанию Гребенщикова, Тищенко и Уральца ездил в Полярный район, устанавливал там финнов-перебежчиков и арестовывал их по заранее заготовленным ордерам. Арест прокуратурой санкционировался после факта, когда привозил людей, примерно через десять-четырнадцать дней. Но это к слову. — Слово это было совершенно необходимо, чтобы кто другой не вздумал рассказать о его делах в Полярном районе, как он его «чистил». — Саамская повстанческая организация из тридцати семи человек — «липа». Всем им «криминировалась» шпионская деятельность и повстанческая. Причем в деле было явное несоответствие. Из материалов следует, что двое ученых, Чертков и Лужневский, были вербовщиками и чуть ли не заправилами «заговора». А они даже под суд не пошли! Почему? Да потому, что так захотелось младшему лейтенанту Михайлову. Все «дело ловозерской повстанческой организации», вскрытое начальником Ловозерского РО НКВД Михайловым в Ловозерском районе и проходившее как «саамский заговор», построено на явных фальсификациях. Например. У этих «повстанцев» изъято оружие, которое они получили по долгу своей службы. Это оружие было все сфотографировано и приобщено к делу. Винтовки ведомственные, не то леспромхозовские, не то зверосовхозовские. Опять-таки если посмотреть на дело, то видно, что обвиняемые архи-безграмотны, полуграмотные и малограмотные, хорошо еще, если могли нацарапать фамилию, а про-

токолы-то у него исключительно грамотного качества. Почему? Да потому, что все эти протоколы — результат творчества Михайлова и его пособников. Все протоколы, написанные Михайловым, приводились в «культурный» вид. Все там было: и шпионы, и диверсия, и террор, и все что хочешь, чуть ли не покушение на руководителей государства в Кремле. Но протоколы-то подписаны! Что делал Михайлов? Читал неграмотным протокол как отрицательный, тот подписывал тремя буквами, вот вам и «признательные показания»! Даже очные ставки проводились по заранее подписанным протоколам. Сейчас уже установлено, что у обвиняемых Саразкина, Юрьева, Осипова и Герасимова произведена приписка огнестрельного оружия уже после произведенного обыска. Это что, стиль работы чекиста? Контрреволюционная диверсионная деятельность документально не подтверждена, а основана только на показаниях самих обвиняемых, что не является доказательством. Известно, как эти доказательства добываются. Заканчивая, хочу сказать, что в период руководства Гребенщикова и Тищенко было, так сказать, ликвидировано несколько крупных «формирований», которые, если их просмотреть, тоже окажутся явно дутыми. Но об этом пусть расскажут те, кто был к ним поближе. Очень своевременно вышло постановление ЦК и Совнаркома, пора очистить наши ряды от пробравшихся врагов и диверсантов!

Хлопали от души и в президиуме, и в зале, особенно в зале, потому что никого, кроме тех, кого и так поименовал «во второй половине доклада» Иван Максимович, он не назвал. Когда он шел на место, ему жали руку.

В конце совещания было принято решение, как и полагается по Уставу ВКП(б), рекомендовать первичной парторганизации МО УНКВД, пользовавшейся правами райкома, исключить ряд товарищей из партии, арестовать и возбудить судебное преследование по фактам нарушения советской законности.

С партактива руководители и сотрудники МО УНКВД, поименованные во второй половине доклада и подвергнутые суровой критике со стороны здоровой части организации, домой не пошли.

Дело Михайлова было выведено в особое производство.

В ходе следствия к Михайлову, Ивану Михайловичу, была применена «стойка», одни говорили, что выдержал только одиннадцать дней, другие говорили — больше. В конце концов все-таки ему пришлось чистосердечно признаться по всем пунктам обвинения, составленного на основе тщательно проведенного сержантом Шитиковым анализа его, с позволения сказать, деятельности. После недолгого разбирательства, получив чистосердечные признания самого Михайлова, провинившемуся чекисту назначили семь лет лишения свободы с содержанием в лагере общего режима. Так что Великую Отечественную войну Иван Михайлович встретил за колючей проволокой, как и День Победы. На свободу вышел Иван Михайлович в 1946 году, по амнистии в честь победы, отбыв в заключении из семи лет по приговору только пять лет и десять месяцев.

Такая вот история...